

БОЛЬШИЕ *и* КНИГИ

Генри
Джеймс



КРЫЛЬЯ
ГОЛУБКИ

НА ПЕРВЫЕ
РУССКОМ



Иностранная литература. Большие книги

Генри Джеймс
Крылья голубки

«Азбука-Аттикус»

1902

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)-44

Джеймс Г.

Иностранная литература. Большие книги / Г. Джеймс —
«Азбука-Аттикус», 1902 — (Иностранная литература.
Большие книги)

ISBN 978-5-389-11541-5

Впервые на русском – знаменитый роман американского классика, мастера психологических нюансов и тонких переживаний, автора таких признанных шедевров, как «Поворот винта», «Бостонцы» и «Женский портрет». Англия, самое начало XX века. Небогатая девушка Кейт Крой, живущая на попечении у вздорной тетушки, хочет вопреки ее воле выйти замуж за бедного журналиста Мертона. Однажды Кейт замечает, что ее знакомая – американка-миллионерша Милли, неизлечимо больная и пытающаяся скрыть свое заболевание, – также всерьез увлечена Мертоном. Кейт совершает «неразумный» поступок – сводит ближе Милли и своего жениха. Кульминацией отношений в любовном треугольнике становится путешествие в Венецию, во время которого Кейт оставляет Милли и Мертона одних... В 1997 г. вышла одноименная экранизация Иэна Софтли, удостоившаяся четырех номинаций на «Оскар» и двух премий Британской киноакадемии; в фильме снимались Хелена Бонэм Картер, Лайнас Роуч, Алекс Дженнингс, Шарлотта Рэмплинг.

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-389-11541-5

© Джеймс Г., 1902
© Азбука-Аттикус, 1902

Содержание

Том I	7
Книга первая	7
I	7
II	18
Книга вторая	28
I	28
II	41
Книга третья	54
I	54
II	65
Книга четвертая	72
I	72
II	82
Конец ознакомительного фрагмента.	88

Генри Джеймс Крылья голубки

© И. Бессмертная, перевод, примечания, 2016

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016 Издательство Иностранка®

Том I

Книга первая

I

Она все ждала, Кейт Крой, чтобы ее отец вошел в комнату, а он бессовестно ее задерживал, и время от времени зеркало над каминной полкой показывало ей ее лицо: оно просто побелело от раздражения, которое в какой-то момент чуть было не заставило ее уйти, так и не повидав отца. Однако именно в этот момент она и осталась, пересев с одного места на другое: сменила потертую софу на кресло, обитое блестящей тканью, оказавшейся одновременно – она потрогала обивку – и скользкой и липкой на ощупь. Кейт уже рассмотрела болезненно желтый узор обоев, взглянула на одинокий журнал – годичной давности, и это, в сочетании с небольшой лампой в цветном стекле и белой вязаной салфеткой посреди главного стола (салфетке недоставало свежести), должно было подчеркивать некогда пурпурный цвет скатерти; более того, Кейт даже время от времени выходила постоять на маленьком балконе, куда открывали доступ два высоких окна-двери. Маленькая вульгарная улочка, видимая с балкона, вряд ли могла облегчить впечатление от маленькой вульгарной комнаты: ее главным назначением было подсказать Кейт, что узкие черные фасады домов, построенные по образцу слишком низкого уровня даже для задних фасадов, придавали всему здесь ту массовость, какую и подразумевала такая уединенность. Вы чувствовали их в этой комнате так же, как чувствовали саму комнату – сотни таких же, или еще того хуже, комнат – на улочке внизу. Каждый раз, как Кейт возвращалась с балкона, каждый раз, в раздражении, она решала бросить отца, но такое решение должно было бы затронуть более глубокие глубины, а сейчас она ощущала вкус слабых, безжизненных эманаций, исходивших от вещей вокруг: неудавшаяся судьба, утрата состояния, утрата чести. Если она и продолжала ждать, то на самом деле потому, что ей, вероятно, не хотелось добавлять стыд из-за боязни собственного, личного провала ко всем, уже существующим, причинам стыдиться. Однако чувствовать эту улицу, чувствовать эту комнату, эту скатерть, салфетку и лампу оказалось для Кейт ощущением почти целительным: по крайней мере, здесь не было ни лжи, ни увиливаний. И все же это зрелище оказалось худшим из всего, что можно было ожидать, включая, в частности, беседу, ради которой она собрала всю свою храбрость; да для чего же она приехала сюда, как не для самого плохого? Чтобы не быть сердитой, она попыталась быть печальной, и ее страшно рассердило то, что печальной быть она не смогла. Но где же страдание, несчастье человека, слишком побитого, чтобы можно было его винить и пометать мелом, как метят «лот» на публичных аукционах, если не в этих беспощадных признаках явно оскудевших и очерстевших чувств?

Жизнь ее отца, сестры, ее собственная, жизнь двух ее потерянных братьев – вся история их дома – походила на цветистую, объемистую фразу, допустим даже музыкальную, которая поначалу уложилась в слова и ноты безо всякого смысла, а потом, зависнув незаконченной, осталась и вовсе без слов и без нот. Для чего надо было привести в движение группу людей, в таком масштабе и в такой атмосфере, что они могли полагать, будто снаряжены для успешного путешествия, лишь затем, чтобы они потерпели крушение без аварии, растянулись в придорожной пыли без всякой причины? Ответа на эти вопросы нельзя было найти на Чёрк-стрит, однако сами вопросы изобиловали на этой улице, и частые остановки девушки перед зеркалом и камином, возможно, свидетельствовали, что она очень близка

к тому, чтобы этих вопросов бежать. Не было ли частичным бегством от того «худшего», в котором она погрязла с головой, то, что она нашла в себе силы выбраться оттуда, сохранив приятный вид? Кейт слишком пристально вглядывалась в потускневшее стекло, вряд ли затем, чтобы разглядывать только собственную красоту. Она поправила черную шляпку с плотно прижатыми перышками, прикоснулась к густой, темной челке, падавшей из-под шляпки на лоб; задержала взгляд – искоса – на прелестном овале повернутого чуть в сторону лица, и не более короткий, но прямой – на нем же, прелестном, анфас. Она была одета во все черное, что, по контрасту, придавало ровный тон ее чистому лицу и делало ее темные волосы более гармонично темными. Снаружи, на балконе, ее глаза выглядели синими, внутри, перед зеркалом, они казались почти черными. Она была красива, но красота ее не подчеркивалась ни вещами, ни вспомогательными средствами, и более того, обстоятельства почти всегда играли свою роль в том впечатлении, которое она производила. Впечатление это обычно не менялось, хотя что касается его источников, никакое добавление слагаемых не дало бы возможности получить целое. Она была статной, хотя и невысокой, грациозной, хотя скуповатой в движениях, представительной без массивности. Изящная и простая, часто не произносившая ни звука, она всегда оказывалась на линии глаз – она доставляла исключительное удовольствие взгляду. Более «одетая», чем другие женщины, но с меньшим количеством аксессуаров, или менее одетая, если требовала ситуация, – с большим, она сама, вероятно, не смогла бы дать ключ к таким счастливым умениям. Это были тайны, существование которых сознавали ее друзья – те, кто обычно объяснял это явление тем, что она умна, независимо от того, воспринимало ли общество эти слова как причину или как следствие ее очарования. Если Кейт видела в тусклом зеркале отцовской квартиры больше, чем собственное прекрасное лицо, она могла бы разглядеть, что она, в конце концов, вовсе не та, кто переживает неожиданный крах. Она была не из тех, кто ни в грош себя не ставит, она не собиралась впасть в нищету. Нет, она сама вовсе не была помечена мелом для аукциона. Она еще не сдалась, и прерванная фраза, если Кейт была в ней последним словом, *во что бы то ни стало завершится* неким смыслом. Наступила минута, в течение которой, несмотря на то что глаза ее были прикованы к зеркалу, Кейт совершенно явно погрузилась в мысли о том, каким образом она могла бы привести все в порядок, если бы была мужчиной. Прежде всего она взялась бы за имя – драгоценное семейное имя, которое ей так нравилось и за которое, несмотря на вред, причиненный ему ее несчастным отцом, еще можно было молиться. На самом деле она любила свое имя еще нежнее из-за этой кровоточащей раны. Но что тут могла поделать девушка, оставшаяся без гроша? Только смириться с созданным положением.

Когда наконец ее отец появился, Кейт тотчас же ощутила – как это бывало всегда, – что любые усилия о чем-либо с ним договориться совершенно бессмысленны. Он написал ей, что болен, слишком болен, и не выходит из своей комнаты, но должен незамедлительно ее повидать, и если это было, что вполне вероятно, сознательной уловкой, то отец даже не считал нужным хоть как-то прикрыть обман. Он явно хотел с ней увидеться – из каприза, который именовал «своими резонами», – как раз тогда, когда она сама испытывала острую необходимость поговорить с ним; но теперь она снова почувствовала, из-за его непрестанно вольного с ней обращения, всю старую боль, боль ее несчастной матери, поняла, что отец не мог даже чуть-чуть прикоснуться к вам без того, чтобы вас не спровоцировать или не оскорбить. Не бывало так, чтобы отношения с ним, даже самые краткие или поверхностные, не причинили бы вам вреда или боли; и это, самым странным образом, не потому, что он именно этого желал – часто чувствуя, как и должен был, всю выгоду от того, чтобы такого не случилось, – но потому, что вы всегда безошибочно понимали, что он может уйти непристойно, всегда в вас жило убеждение, что для него невозможно подойти к вам, не «изготовившись». Он мог бы поджидать ее на софе в своей гостиной или же остаться в постели и встретить ее в таком положении. Кейт была благодарна, что ее избавили от лицемерия его внутренних покоев,

но тогда ей не напомнили бы о том, что в ее отце никогда не было правдивости. В этом и крылась утомительность каждой новой встречи: он раздавал ложь, как раздавал бы карты из засаленной старой колоды для игры в дипломатию, за которую вам приходилось с ним садиться. Неудобство – как всегда бывало в таких случаях – заключалось не в том, что вы терпеть не могли фальши, а в том, что вы не видели, где правда. Отец мог и в самом деле быть болен, и вас могло бы устроить, что вы в этом убедились, но никакой разговор с ним об этом никогда не был бы достаточно правдивым. Точно так же он мог бы даже умереть, и Кейт справедливо задумывалась над тем, на каком его собственном доказательстве она смогла бы когда-нибудь в будущем основываться, чтобы этому поверить.

Вот и сейчас отец вовсе не спустился в гостиную из своей спальни, которая располагалась, как Кейт было известно, прямо над гостиной, где находились теперь они оба: он выходил из дому, хотя, если бы она потребовала от него объяснений, он либо отрицал бы сей факт, либо представил бы его в подтверждение своего крайне безвыходного положения. Однако к этому времени Кейт совершенно перестала требовать от отца объяснений: она не только, встречаясь с ним лицом к лицу, отбрасывала бесполезное раздражение, но он так замарывал ее ощущение трагического, что буквально через мгновение от ее осознания трагедии не оставалось и следа. Неменьшей трудностью было и то, что он точно таким же образом опошлял и ее осознание комического: ведь Кейт почти верила, что с помощью этого последнего ей удастся найти точку опоры, чтобы остаться верной отцу. Он перестал ее забавлять. Он стал действительно бесчеловечен. Его прекрасная внешность, помогавшая ему так долго оставаться на плаву, практически не изменилась и все еще была прекрасной, но ведь ее уже так долго воспринимали как нечто само собою разумеющееся. Ничто не могло быть более ярким доказательством того, как окружающие были правы. Он выглядел абсолютно как всегда – весь розово-серебряный, если говорить о цвете лица и волос, весь прямой и накрахмаленный, если речь вести о фигуре и одежде: человек из общества, менее всего ассоциирующегося с чем-либо неприятным. Он выглядел истинным английским джентльменом и хорошо обеспеченным нормальным человеком. Сидя за иностранным табльдотом, он вызывал лишь одну мысль: «Какими же совершенными рождает их Англия!» У него был добрый, безопасный взгляд и голос, который, несмотря на свою ясную звучность, рассказывал тихую сказку о том, что никогда, ни разу не пришлось ему повиситься. Жизнь так и встретила его – на полпути – и повернула его вспять, чтобы пойти вместе, взяв его под руку и любовно позволив ему самому задавать темп. Те, кто мало его знал, говорили: «Как он одевается!» Те, кто знал его лучше, говорили: «Как это ему *удается*?» Единственный случайный промельк комического, на взгляд его дочери, был в том, что он на миг вызвал у нее абсурдное ощущение, что в этой убогой квартирке он «взирает» на дочь как на единственную возможность спасения. С минуту после его прихода казалось, что это ее квартира, а сам он – посетитель с обостренной чувствительностью. Он умел вызывать у вас абсурдные ощущения, он владел неопишуемым искусством меняться ролями, бить вас вашим же оружием: именно так и получалось всегда, когда он приходил повидаться с матерью Кейт, пока мать соглашалась с ним видаться. Он являлся из мест, о которых они часто ничего не знали, тем не менее он явно свысока относился к Лексем-Гарденс.

Однако единственным подлинным выражением раздражения Кейт было:

– Я рада, что тебе гораздо лучше!

– Мне вовсе не гораздо лучше, моя дорогая, – я чрезвычайно плохо себя чувствую. Доказательством чему служит как раз то, что мне пришлось выйти в аптеку, она на углу, а аптекарь – грубое животное. – Так мистер Крой продемонстрировал весьма квалифицированное искусство смирения, и это его вполне удовлетворило. – Я принимаю что-то, что он сделал специально для меня. Именно поэтому я и послал за тобою – чтобы ты могла увидеть меня таким, каков я на самом деле.

– Ох, папа, давно прошли те времена, когда я видела тебя иначе – не таким, каков ты на самом деле. Мне кажется, мы все давно уже нашли правильное слово для этого: ты прекрасен – *n'en parlons plus*¹. Ты так же прекрасен, как всегда. И выглядишь прелестно.

Отец тем временем оценивал ее внешность, а Кейт и не сомневалась, что ей следует этого ждать, – он делал это всегда: отдавая должное, составляя свое мнение, порой неодобрительное, о том, как она одета, показывая дочери, что он по-прежнему ею интересуется. Вполне могло быть и так, что на самом деле она его вовсе не интересовала, однако она действительно чувствовала себя в мире тем существом, к которому он был менее всего равнодушен. Кейт довольно часто задумывалась над тем, что же на свете, при том трудном положении, в котором он теперь находился, могло доставлять ему удовольствие, и, размышляя о таких встречах, пришла к определенному выводу. Ему доставляло удовольствие, что она красива, что она по-своему представляет вполне осязаемую материальную ценность. Тем не менее было точно так же заметно, что из другого своего дитя он не мог извлечь ничего подобного в подобных же обстоятельствах, если бы они *были* подобными. Бедняжка Мэриан могла быть сколько угодно красивой, но он оставался к этому безразличен. Загвоздка здесь, разумеется, заключалась в том, что сестра Кейт, какой бы красивой она ни была, – вдовела на грани нужды, с четырьмя шумливыми детишками, и не могла мериться той же меркой, то есть осязаемой ценности не представляла. Следующий вопрос, заданный отцу, был о том, как давно он поселился в своей теперешней квартире, хотя Кейт прекрасно сознавала, как мало это значит и как мало общего с правдой мог бы иметь любой его ответ. Она и в самом деле не обратила внимания на ответ отца, правдивым он был или нет, занятая мыслями о том, что – со своей стороны – она собиралась ему сказать. Это и было реальной причиной, заставившей Кейт дожидаться отца, – причиной, вытеснившей остатки раздражения от постоянной отцовской наглости: в результате всего этого она через минуту высказала все, что долго обдумывала.

– Да... Даже теперь я готова остаться с тобой. Я не знаю, что ты мог пожелать сообщить мне, но даже если бы ты мне не написал, через день-два ты получил бы известие от меня самой. Кое-что произошло, и я лишь ждала возможности увидеться с тобой, чтобы быть уверенной. Теперь я *совершенно* уверена. Я остаюсь с тобой.

Это произвело некий эффект.

– Остаешься со мной? Где же?

– Где угодно. Я останусь с тобой. Да хотя бы и здесь.

Она уже сняла перчатки и, словно завершив то, что запланировала, уселась в кресло.

Лайонел Крой бесцельно бродил по комнате с обычным, как бы отрешенным видом, мешкал с ответом, как бы ища, после ее слов, повода выпутаться половчее из этой неприятности. Кейт тотчас же поняла, что напрасно не приняла в расчет (как это можно было бы назвать) то, что он сам приготовился сказать ей. Он не только не хотел, чтобы она приезжала к нему и тем более чтобы поселилась вместе с ним: он послал за ней, чтобы расстаться с нею, простившись эффектно и торжественно, что составляло часть его привлекательности: эту часть он собирался принести в жертву дочери ради ее отъединения. Не будет ни эффектно, ни торжественно, если только она не захочет его покинуть. Соответственно, его идея заключалась в том, что он – отец – уступает желанию дочери со всем присущим ему благородством: он ни в коем случае не хотел бы отдалять ее от себя. Однако Кейт ни на йоту не беспокоило замешательство отца – она знала, что и ее саму очень мало трогает благотворительность. Ей приходилось видеть его по-настоящему в стольких разнообразных позициях, что теперь она могла без всяких сожалений лишиться его роскоши занять еще одну – новую. И все же Кейт расслышала сдерживаемый вздох огорчения в тоне отца, когда тот произнес:

¹ Не будем больше говорить об этом (*фр.*).

– Ах, девочка моя! Я никогда не смогу согласиться на это.

– Что же тогда ты собираешься делать?

– Я сейчас мысленно проворачиваю это. Не можешь же ты себе представить, чтобы я не думал?

– Тогда неужели ты не подумал, – спросила его дочь, – о том, что я говорю тебе? То есть о том, что я к этому готова.

Он встал перед нею, заложив руки за спину, чуть расставив ноги, и слегка покачивался взад-вперед, лицом к ней, словно приподнимаясь на носки. Создавалось впечатление, что отец тщательно обдумывает ответ.

– Нет... Я не подумал. Не мог. И не хотел.

Это был спектакль, столь уважаемый, что Кейт снова почувствовала, вспомнив об их давнем отчаянии – отчаянии дома, на Лексем-Гарденс, как мало внешность отца, когда бы то ни было, что бы ни случилось, говорила о нем. Его умение внушать доверие, его внешняя благопристойность были самым тяжким крестом ее матери: именно эта его сторона неминуемо предьявлялась обществу, и значительно реже та, что была отвратительна, – слава богу! – они действительно не знали, что он сделал. Он совершенно явно был по-своему, в силу того особого типа, к которому принадлежал, ужасным мужем, не только потому, что с ним невозможно было жить: этот тип мужчины мог клеветой опозорить женщину, которая нашла его неприятным. Не стоял ли постоянно такой вопрос и перед самой Кейт? – ведь могло оказаться, что, в некотором смысле, будет отнюдь не легкой задачей оставить без компаньонки родителя с такой внешностью и с такими манерами. Тем не менее, хотя было много такого, о чем Кейт не знала, чего ей никогда и не снилось, у обоих – и у дочери, и у отца – в тот момент мелькнула мысль, что он-то прекрасно освоился в качестве главного персонажа подобных затруднительных положений. Если он осознавал счастливую внешность своей младшей дочери как ощутимую материальную ценность, он с самого начала еще более точно оценивал каждое из своих преимуществ, каждую из своих особенностей. Поразительно было не то, что, вопреки всему, эти преимущества ему всегда помогали, поразительно, что они не помогали ему гораздо больше. Как бы то ни было, они, повторяясь, словно навязчивая мелодия, помогали ему всю жизнь: терпеливость Кейт, вернувшаяся к ней во время разговора с отцом, показывает, как помогли ему его особенности в этот момент. В следующую секунду она ясно представила себе, какую линию он собирается вести.

– Ты что же, просишь, чтобы я поверил, что ты и правда готовилась принять это решение?

Кейт нужно было подумать о том, какую линию вести ей самой.

– Кажется, мне все равно, папа, чему ты поверишь, а чему – нет. Кстати говоря, я редко думаю о тебе как о человеке, способном чему-либо поверить, вряд ли чаще, – позволила она себе добавить, – чем думаю о том, можно ли верить тебе. Видишь ли, отец, я ведь тебя не знаю.

– И ты полагаешь, что сможешь это исправить?

– О боже, нет, вовсе нет! Это никакого отношения к моему вопросу не имеет. Если я до сего времени не смогла тебя понять, то уж никогда не смогу. Да это и не важно. Мне казалось, что с тобой можно ужиться, но понять тебя невозможно. Конечно, я не имею ни малейшего представления о том, как у тебя идут дела.

– Дела у меня не идут, – откликнулся мистер Крой почти весело.

Его дочь снова обвела взглядом комнату: могло показаться очень странным, что при том, как мало можно было здесь увидеть, она так много ей говорила. То, что бросалось в глаза прежде всего, было уродство, столь явное и ощутимое, что оно как бы утверждало свое право на существование. Оно выступало как средство информации, как фон и в этом смысле являлось устрашающим признаком жизни, так что придавало смысл ответу Кейт:

– Ох, прошу прощения. Я вижу – ты процветаешь!

– Ты опять швыряешь мне в лицо, – весьма любезным тоном задал он ей вопрос, – что я тогда не покончил с собой?

Кейт сочла, что его вопрос не требует ответа: она ведь сидела здесь, надеясь обсудить реальные проблемы.

– Ты ведь знаешь, что все наши тревоги оправдались после маминого завещания. Она смогла оставить нам даже меньше, чем опасалась. Мы не понимаем, как мы вообще жили. Все вместе составляет около двух сотен фунтов в год для Мэриан и двух – для меня, но я отказываюсь от одной сотни в пользу Мэриан.

– Ах ты, слабая душа! – произнес ее отец со вздохом, исходившим как бы из самых глубин просвещенного опыта.

– Для нас с тобой вместе, – продолжала Кейт, – эта оставшаяся сотня могла бы кое-что сделать.

– А что могло бы сделать все остальное?

– А ты сам разве ничего не можешь делать?

Отец одарил ее взглядом, потом засунул руки в карманы и, отвернувшись, направился к окну-двери, которое Кейт оставила открытым, где и остановился на некоторое время.

Кейт больше ничего не сказала: ее вопрос отправил отца к окну, и молчание длилось целую минуту, прерванное лишь призывным криком уличного торговца с тележкой, заполненной фруктами и овощами, влетевшим в комнату вместе с мягким мартовским воздухом, с чудосочным солнечным светом, пугающе не подходящим к этой комнате, и с обыденным негромким шумом Чёрк-стрит. Вскоре отец подошел поближе, но с таким видом, будто вопрос дочери уже не обсуждается.

– Не понимаю, что это тебя вдруг так завело?

– Я было подумала, что ты мог и сам догадаться. Во всяком случае, позволь мне тебе сказать. Тетушка Мод сделала мне предложение. Но она также поставила мне условие. Она предлагает содержать меня.

– Так что же еще ей *может* быть от тебя нужно?

– Ох, откуда мне знать? Много всего. Я – не такая уж ценная добыча, – объяснила девушка довольно сухим тоном. – Никто никогда раньше не предлагал мне меня содержать.

Всегда выглядевший как подобает случаю, ее отец сейчас казался более удивленным, чем заинтересованным.

– Тебе никто никогда этого не предлагал? – Он задал вопрос так, словно такое было невероятно для дочери Лайонела Кроя, словно и в самом деле такое признание, даже в приливе дочерней откровенности, никак не могло соответствовать ее живой и пылкой натуре, да и ее внешности вообще.

– Во всяком случае, не богатые родственники. Она чрезвычайно добра ко мне, но говорит, что настало время нам понять друг друга.

Мистер Крой изъявил на это свое полное согласие:

– Разумеется, пора, и уже давно: я даже могу представить себе, что она имеет в виду.

– Ты в этом вполне уверен?

– Абсолютно! Она имеет в виду, что «расщедрится» для тебя, если ты прекратишь всякие сношения со мною. Ты говоришь, она поставила тебе условие. Это, конечно, и есть ее условие.

– Ну что ж, – ответила Кейт, – именно это меня и «завело». И вот я здесь.

Он показал жестом, как глубоко это его тронуло; после чего, буквально через несколько секунд, он, вполне подобающе, перевернул ситуацию:

– Ты что же, действительно полагаешь, что я, в моем положении, способен оправдать то, что ты вот так свалилась на меня?

Кейт посидела немного молча, но, когда она заговорила, голос ее звучал твердо:

– Да.

– Ну что же, тогда ты гораздо слабее умом, чем я решился бы предположить.

– Почему же? Ты живешь. Ты процветаешь. Ты в расцвете сил.

– Ох, как же вы все до сих пор меня ненавидите! – пробормотал он, снова печально взглянув в окно.

– Никто не мог бы в меньшей степени, чем ты, стать всего лишь дорогим воспоминанием, – сказала Кейт, будто не слыша его слов. – Ты ведь реально существующая личность, если такие когда-либо существовали. Мы только что согласились, что ты прекрасен. Знаешь, у меня создается впечатление, что ты – по-своему – гораздо тверже стоишь на ногах, чем я. Поэтому не стоит внушать мне, как чудовищно то, что самый факт существования меж нами родственной связи – а ведь мы с тобой в конечном счете родитель и дитя – должен сейчас иметь для нас какое-то значение. Моим соображением было, что это должно каким-то образом помочь каждому из нас. Я пока совсем – как я уже призналась – не представляю, как ты живешь, – продолжала она, – но какова бы ни была твоя жизнь, я в настоящий момент предлагаю ее принять. А со своей стороны буду делать для тебя все, что смогу.

– Понятно, – проговорил Лайонел Крой. А затем тоном, логически вполне обоснованным, задал вопрос: – А что ты *можешь*?

На это она не нашлась, как ответить, и отец воспользовался ее молчанием:

– Ты, конечно, можешь описать себя – себе самой – как существо в прекрасном полете, жертвующее своей теткой ради меня; только вот какую же пользу, хотел бы я знать, принесет *мне* этот твой прекрасный полет? – Поскольку дочь все еще молчала, он развил немного свой тезис: – У нас не так много возможностей в этот очаровательный период жизни, если ты будешь столь любезна припомнить, чтобы мы могли позволить себе не ухватиться за любой насест, который нам предлагают. Мне нравится, как ты говоришь, моя дорогая, о том, чтобы «отказаться»! Никто не отказывается пользоваться ложкой из-за того, что ему приходится довольствоваться одним бульоном. А твоя ложка, то есть твоя тетка, будь любезна принять это в расчет, отчасти также моя.

Кейт поднялась с кресла, словно увидела наступающий ее усилиям конец, увидела тщету и утомительность множества обстоятельств, и снова вернулась к небольшому тусклому зеркалу, с которым общалась прежде. Она опять легким движением поправила позицию шляпки, и это вызвало у ее отца новое замечание – на этот раз, однако, его раздражение сменилось непринужденным всплеском одобрения:

– О, у тебя все в порядке! И нечего тебе попусту вязаться со *мной*!

Его дочь резко повернулась к нему:

– Условие, поставленное тетей Мод, заключается в том, что я не должна иметь с тобой никакого дела вообще – никогда с тобой не видеться, не говорить, не переписываться, не подавать никаких знаков, не поддерживать с тобой никаких сношений. Она просто требует, чтобы ты для меня перестал существовать.

Всегда казалось, что отец – это была одна из тех его черт, которые все они называли «неописуемыми», – начинал ходить, чуть больше приподнимаясь на цыпочки, чтобы упругостью шага выказать веселое пренебрежение при малейшем признаке обиды. Однако ничто не выглядело столь поразительным, как то, что он мог порой принять за обиду, если не знать, что он порой мог за обиду *не* принять. Во всяком случае, сейчас он ходил, приподнявшись на носки.

– Вполне надлежащее требование твоей тетушки Мод, моя милая, – заявляю это без малейших колебаний! – Но так как его слова, хотя Кейт приходилось уже столь многое видеть, заставили ее промолчать, по-видимому, из-за сразу возникшего чувства тошноты, у

него оказалось время для продолжения. – Значит, таково ее условие. Но каковы ее обещания? Что она предполагает предпринять? Знаешь ли, тебе придется над этим поработать.

– Ты имеешь в виду, что мне надо дать ей почувствовать, – спросила Кейт после некоторого молчания, – как сильно я к тебе привязана?

– Ну послушай, что за жестокий, несправедливо оскорбительный договор тебе придется подписать! Я – бедный старый папочка, настоящая развалина, и тебе надо от меня отказаться! Я полностью с ней согласен. Но я не настолько старая развалина, чтобы ничего не получить за этот отказ.

– О, я думаю, – воскликнула Кейт, теперь уже почти весело, – ее идея заключается в том, что я получу очень многое!

Он встретил ее слова со всей своей неподражаемой любезностью:

– Но сообщила ли она тебе детали?

Его дочь выдержала свою роль до конца:

– Думаю, да. Более или менее. Но многое из сказанного, мне кажется, можно считать само собой разумеющимся – это то, что женщины могут сделать друг для друга, – всякие дела, которых тебе не понять.

– Нет ничего такого, что я понимал бы – всегда – лучше, чем то, что мне совершенно не нужно. Но вот что мне нужно сейчас, понимаешь ли, – продолжал Лайонел Крой, – так это довести до твоего сознания, что перед тобой открываются превосходные возможности и что, более того, такие, за которые в конечном счете ты, черт возьми, по правде говоря, должна благодарить *меня*.

– Должна признаться, я не вижу, – заметила Кейт, – какое отношение мое «сознание» имеет ко всему этому.

– В таком случае, моя дорогая девочка, тебе следовало бы устыдиться самой себя. Знаешь ли ты, доказательством чему все вы являетесь, все вы – безжалостные, пустые люди, вместе взятые? – Он задал свой вопрос с восхитительным видом внезапно охватившего его духовного жара. – Прискорбно поверхностной морали нашего века. Семейные чувства в нашей столь вульгаризированной, брутализированной жизни просто пошли прахом. Было время, когда человек вроде меня – под этим я имею в виду родителя вроде меня – был бы для дочери вроде тебя определенной ценностью: тем, что в деловом мире называют, как я полагаю, «активами». – Отец продолжал весьма дружелюбно развивать эту идею. – Я говорю не только о том, что ты могла бы, должным образом ко мне относясь, сделать *для* меня, но и о том, что ты могла бы – это я и называю твоими возможностями – сделать *со* мной. Если только, – невозмутимо бросил он в следующий момент, – они не сведутся к одному и тому же. Твой долг, как и твой шанс в жизни, если только ты способна это увидеть, в том, чтобы использовать меня. Прояви семейные чувства, разглядев, на что я еще гожусь. Если бы у тебя они были такие же, как у меня, ты поняла бы, что я еще гожусь... ну, на множество разных дел. Фактически, моя дорогая, – мистер Крой совсем разошелся, – из меня еще можно вытрясти карету четверкой. – Этот ляпсус или, скорее, его высший взлет не произвел должного эффекта из-за несвоевременной поспешности памяти. Что-то из того, что дочь говорила ему раньше, неожиданно явилось ему на ум. – Так ты пришла к решению отдать половину своего маленького наследства?

Ее колебания закончились смехом.

– Нет, ни к какому решению я не пришла.

– Но ты же говорила, что практически разрешила Мэриан эту половину присвоить? – Отец и дочь стояли теперь лицом к лицу, но она так явно не пожелала ему ответить, что ему оставалось лишь продолжать: – Ты рассматриваешь для нее возможность получить три сотни в год, вдобавок к тому, что ей оставил муж? И вот *это*, – громко спросил бывалый прародитель подобной расточительности, – и есть твоя мораль?

Кейт не затруднилась ответить:

– А ты полагаешь, что мне следует отдать тебе всё?

Это «всё» его явно потрясло: настолько, что даже определило тон его ответа.

– Все нет. Как ты можешь задавать мне такой вопрос, когда я отказываюсь принять то, что ты – как ты утверждаешь – приехала мне предложить? Можешь трактовать мои слова как угодно, но мне кажется, я достаточно ясно выразил свою идею, и, во всяком случае, ты можешь согласиться ее принять или отказаться. Это моя единственная идея, и тем не менее, могу добавить, что это та корзина, куда я сложил все яйца. Коротко говоря, такова моя концепция твоего дочернего долга.

Дочь с усталой улыбкой наблюдала за этим последним словом, будто оно обретало видимую форму – не очень крупную, но гротескную.

– Ты просто чудесен, когда рассуждаешь о таких сюжетах. Я думаю, мне не следует оставлять у тебя ни капли сомнения, и, – продолжила она, – если я подпишу такое соглашение с тетужкой, я должна буду выполнять его с честью, до последней буквы.

– Еще бы, любовь моя! Именно к твоей чести я и взываю! Единственный способ сыграть в эту игру – это играть в нее. Ведь нет предела тому, что твоя тетя может для тебя сделать.

– Ты имеешь в виду, что она может выдать меня замуж?

– Да что же еще могу я иметь в виду? Выдать тебя замуж должным образом...

– И тогда? – спросила Кейт, поскольку отец замешкался.

– И тогда я с тобой поговорю. Я возобновлю отношения.

Кейт огляделась и подобрала с пола свой зонтик от солнца.

– Потому что ты никого на всем свете не боишься так, как ее? Мой муж, если я все-таки выйду замуж, будет в худшем случае все-таки менее ужасен, чем она? Если ты это имеешь в виду, тут может быть какой-то смысл. Но разве все не будет зависеть от того, что ты имеешь в виду под словами «выдать замуж должным образом»? Как бы то ни было, – добавила Кейт, расправляя оборку своего маленького зонтика, – я не думаю, что в твое представление о моем муже входит надежда, что он убедит тебя жить вместе с нами.

– О боже, нет! Ни в коем случае! – Отец говорил так, будто его не возмутило, что дочь приписывает ему либо опасение, либо надежду, он действительно встретил оба ее предположения с неким интеллектуальным облегчением. – Я отдаю твои дела целиком и полностью в руки твоей тетки. Принимаю ее точку зрения не глядя: соглашусь на любого человека, избранного ею тебе в мужья. Если он окажется достаточно хорош для нее – при ее слоновьих размерах снобизме, – он будет достаточно хорош и для меня. Мой интерес здесь сводится лишь к тому, чтобы ты делала то, чего хочет она. Ты уже не будешь столь жестоко бедной, моя дорогая, – заявил мистер Крой, – если я могу помочь тебе в этом.

– Ну что ж, тогда – всего хорошего, папа, – произнесла Кейт после некоторого раздумья: последние его слова ясно дали понять, что дальнейшие обсуждения ни к чему. – Конечно, ты понимаешь, что все это может затянуться надолго.

Тут ее собеседник пережил момент одного из своих лучших озарений.

– А почему бы – если откровенно – не навсегда? Ты могла бы отдать мне должное и признать, что если я что-то делаю, я никогда не делаю этого наполовину. Если я предлагаю, ради тебя, стереть себя с лица земли, то прошу лишь о последней фатальной губке, но хорошо увлажненной и должным образом примененной.

Дочь повернула к нему прелестное спокойное лицо и смотрела на отца так долго, что это и вправду могло быть в последний раз.

– Я не понимаю, какой ты, – сказала она.

– Я тоже – не больше, чем ты, моя милая. Я прожил жизнь, пытаюсь – тщетно – это выяснить. Меня не с чем сравнить – и это тем более жаль. Если бы нас – таких, как я, – было

много и мы сумели бы отыскать друг друга, никто не смог бы предугадать, что мы способны совершить.

Кейт вытерпела еще минуту, чтобы прояснить ситуацию:

– Жаль, что здесь нет никого, кто мог бы засвидетельствовать – на всякий случай, – что я довела до твоего сознания свою готовность приехать.

– Ты хочешь, – спросил ее отец, – чтобы я позвал хозяйку квартиры?

– Ты можешь мне не верить, но я приехала, в самом деле надеясь, что ты сможешь найти какое-то решение. В любом случае мне очень жаль покидать тебя, когда ты плохо себя чувствуешь. – При этих ее словах он отвернулся от дочери и, как делал это раньше, укрылся у окна, сделав вид, что разглядывает улицу. – Позволь мне подсказать тебе, к несчастью без свидетеля, – добавила она секунду спустя, – что есть только одно слово, которое тебе действительно надо мне сказать.

Когда он решился ответить на это, он так и остался стоять к дочери спиной.

– Если у тебя не создалось впечатления, что я его уже произнес, время, что мы с тобой здесь потратили, было потрачено совершенно впустую.

– Я свяжусь с тобой касательно тетушки, в отношении того, чего она точно хочет от меня в отношении тебя. Она хочет, чтобы я сделала выбор. Очень хорошо. Я сделаю свой выбор. Я умою руки – откажусь от нее ради тебя, в ее же стиле.

Он наконец заставил себя повернуться к ней:

– Знаешь, дорогая, меня от тебя уже тошнит! Я пытался выразиться вполне ясно, и это несправедливо с твоей стороны. – (Однако Кейт пропустила его слова мимо ушей: она была предельно искренна, ее лицо явственно говорило об этом.) – Не могу понять, что с тобой происходит, – произнес мистер Крой. – Если ты не способна взять себя в руки, я – клянусь честью – сам возьму тебя в руки. Усажу в кеб и доставлю, в целости и сохранности, обратно на Ланкастер-Гейт.

Но Кейт просто отсутствовала, была где-то далеко.

– Отец!

Это было уже слишком, и он отреагировал резко:

– Ну?

– Может быть, тебе это покажется странным – услышать такое от меня, но ты можешь сделать для меня доброе дело и оказать помощь.

– Разве не именно это я пытался дать тебе почувствовать?

– Да, – с великим терпением ответила Кейт. – Однако ты выбрал неверный способ. Я говорю с тобой абсолютно честно и знаю, о чем говорю. Я не стану притворяться, что месяц тому назад я могла бы поверить, что смогу попросить у тебя хоть в чем-то поддержки или помощи. Но ситуация изменилась – вот что произошло: у меня возникло новое затруднение. Однако же и теперь речь не идет о том, чтобы я попросила тебя, в известном смысле, что-то «сделать». Речь просто о том, чтобы ты меня не отвергал, не уходил из моей жизни. Речь просто о том, чтобы ты сказал: «Тогда ладно, раз ты этого хочешь: мы останемся вместе. Мы не станем заранее беспокоиться о том, как и где, – у нас будет вера, и мы отыщем путь к этому». Вот и всё. Это и будет то доброе дело, какое ты можешь для меня сделать. У меня *будешь* ты, и это пойдет мне на пользу. Теперь видишь?

Если он и не видел, то не потому, что не смотрел на нее во все глаза.

– С тобой случилось то, что ты влюбилась, а твоя тетка узнала об этом и – я уверен, у нее есть для этого *причины*, – терпеть его не может и категорически против. Что ж, пусть ее! В таком деле я доверяюсь ей с закрытыми глазами. Уходи, прошу тебя.

Говорил он это без гнева, скорее, с бесконечной печалью, однако он действительно выгонял ее прочь. И прежде чем она успела осознать это, он, как бы желая полностью обозначить то, что чувствует, распахнул перед нею дверь комнаты. Но, будем справедливы: вме-

сте с неодобрением он испытывал великодушное сочувствие. И поделился им с дочерью. Он произнес:

– Мне так жаль ее – эту обманутую женщину, если она строит свои планы в расчете на тебя.

Кейт на миг задержалась на сквозняке:

– Она вовсе не та, кого мне жаль более всего. Может, она и обманывается во многом, однако не более других. Я хочу сказать, – пояснила она, – если речь идет, как ты выразился, о ее планах в расчете на меня.

Отец воспринял это, словно она могла иметь в виду нечто совсем иное, чем свое собственное мнение.

– Тогда, следовательно, ты обманываешь двух человек – миссис Лоудер и кого-то еще?

Она как-то отрешенно покачала головой:

– Сейчас у меня вовсе нет такого намерения по отношению к кому бы то ни было, и менее всего – к миссис Лоудер. Если уж ты меня подводишь – казалось, она наконец-то осознала это, – тут все же есть кое-что положительное, хотя бы в том, что это упрощает все дело. Я пойду своим путем – насколько я вижу свой путь.

– Твой путь, хочешь ты сказать, означает, что ты выйдешь за какого-то мерзавца без гроша в кармане?

– Ты требуешь слишком многого за то малое, что даешь, – заметила дочь.

Ее слова заставили отца снова подойти и встать прямо перед ней, словно он вдруг понял, что торопить ее не имеет смысла; и хотя он некоторое время взирал на дочь весьма сердито, надолго его не хватило – предел его способности энергично возражать ей наступил уже некоторое время тому назад.

– Если ты настолько низменна душой, чтобы вызвать порицание твоей тетки, ты достаточно низка и для того, чтобы не принять мои аргументы. Что означают твои обращенные ко мне речи, если ты не имеешь в виду совершенно неподобающую личность? Кто он такой, этот твой нищий проходимец? – продолжал он, поскольку дочь задержалась с ответом.

Когда ее ответ наконец последовал, он звучал холодно и четко:

– Он настроен по отношению к тебе самым лучшим образом. Ему на самом деле хочется быть с тобой очень добрым.

– Тогда он просто осёл! И с чего это, ради всего святого, ты полагаешь, такая характеристика сделает его лучше в моих глазах? – продолжал отец. – Ведь он и бедный, и неприемлемый. Есть болваны и болваны – поровну – приемлемые и неприемлемые, а тебе, как видно, удалось подобрать неприемлемого. Твоя тетушка, к счастью, в *них* разбирается, я совершенно доверяюсь – и говорю это постоянно – ее суждению, и ты можешь усвоить мои слова раз и навсегда: я не пожелаю слышать ни о ком, о ком не желает слышать она. – Эта тирада завершилась его последним словом: – Если же ты окажешь нам обоим открытое неповиновение...

– Да, папа?

– Ну что ж, мое милое дитя, тогда, скатившийся в ничтожество – как ты, скорее всего, поверишь всем своим любящим сердцем, – я тем не менее не лишусь возможности заставить тебя пожалеть об этом.

Кейт выдержала паузу серьезно, спокойно, и казалось, она и не думала о реальной опасности его угрозы.

– Знаешь, если я не сделаю того, о чем ты говоришь, то вовсе не потому, что испугалась тебя.

– О, если ты этого не сделаешь, можешь быть храброй сколько угодно.

– Значит, ты совсем ничего не можешь для меня сделать?

На этот раз он показал ей – и здесь уже не могло быть ошибки, все происходило прямо у нее на глазах, тут же, на лестничной площадке, на самом верху извилистой лестницы, в гуще странного запаха, который, казалось, облеплял их целиком, – какими тщетными остались ее предложения и просьбы.

– Я никогда не претендовал на то, что могу сделать больше, чем требует от меня долг: я дал тебе самый лучший и самый ясный совет. – И тут вступила в действие пружина, всегда им двигавшая. – Если я тебя огорчил, можешь отправиться за утешением к Мэриан.

Он не мог простить Кейт, что она разделила с Мэриан ту скудную долю наследства, какую мать смогла оставить ей: дочь должна была разделить деньги с *ним*.

II

Когда умерла ее мать, Кейт отправилась к миссис Лоудер – принудила себя это сделать с усилием, напряжение и мучительность которого теперь, когда все это припомнилось ей, заставили ее задуматься, какой же долгий путь прошла она с тех пор. Ничего другого делать ей не оставалось: ни гроша в доме, ничего, кроме неоплаченных счетов, скопившихся толстой пачкой за то время, что его хозяйка лежала смертельно больная, а также предостережения, чтобы Кейт не вздумала предпринимать ничего такого, что помогло бы ей получить какие-то деньги, поскольку все здесь – «семейная недвижимость». Каким образом эта недвижимость могла оказаться им полезной, было для Кейт в самом лучшем случае загадкой, таинственной и вызывающей ужас; на самом же деле она оказалась всего лишь остатком, чуть менее скудным, чем они с сестрой опасались в течение нескольких недель; однако Кейт поначалу испытывала довольно острое чувство обиды оттого, что – как она подозревала – за этой недвижимостью ведется наблюдение от имени Мэриан и ее детей. Бог ты мой, что же такое, по их предположениям, могла она захотеть сделать с «семейной недвижимостью»? Она ведь желала лишь все отдать – отказаться от своей доли, как, вне всякого сомнения, и сделала бы, если бы этот пункт ее плана не подвергся резкому вмешательству тетушки Мод. Вмешательство тетушки Мод, и теперь не менее резкое, касалось другого, весьма существенного пункта, и главный смысл вмешательства – в этом свете – заключался в том, что нужно либо принять все целиком, либо от всего отказаться. Однако в конце зимы Кейт вряд ли могла бы сказать, какую из обдуманых ею позиций она принимает. Уже не впервые она видела себя вынужденной принимать, с подавляемым чувством иронии, то, как интерпретируют ее поведение другие люди. Очень часто кончалось тем, что она уступала, принимая удобные им версии: казалось, что это и есть реальный способ существования в обществе.

Высокий и массивный, богатый дом на Ланкастер-Гейт, напротив Гайд-парка и протяженных пространств Южного Кенсингтона, в детстве и в ранние девические годы представлялся ей самым дальним пределом ее не очень ясного юного мира. Этот дом был более далеким и более редким явлением, чем что бы то ни было, еще в том, сравнительно компактном круге, где она вращалась, и казалось – из-за рано замеченной неумолимой строгости, – что добраться до него можно, лишь преодолев длинные, прямые, лишаящие храбрости пространства, улицы, врезающиеся одна в другую, наподобие раздвижной зрительной трубы, и становящиеся все прямее и длиннее, в то время как все остальное в жизни располагалось либо – самое худшее – в окрестностях Кромвель-роуд, либо – самое отдаленное – у ближайших участков Кенсингтон-Гарденс. Миссис Лоудер была единственной «настоящей» теткой Кейт – не женой какого-нибудь дяди, и поэтому, как в древние времена или во времена великих бедствий, именно она, из всех на свете людей, должна была подать некий знак; в соответствии с этим чувства нашей молодой женщины основывались на представлении, укрепившимся за многие годы, что знаки, делавшиеся через только что упомянутые

интервалы, никогда в реальности не попадали в тон сложившейся ситуации. Своей главной обязанностью по отношению к юным отпрыскам миссис Крой эта родственница почитала – помимо придания им некоторой меры социального величия – необходимость воспитать их в понимании того, чего им не следует ожидать. Когда, несколько более узнав о жизни, Кейт взялась размышлять обо всем этом, ей никак не удавалось понять, что тетушка Мод просто не могла быть иной; ей к тому времени, пожалуй, стало более или менее ясно, почему многое другое могло быть иным; однако она постигла еще и ту истину, что, если все они живут, сознательно принимая необходимость ощущать на себе холодное дыхание *Ultima Thule*, то, судя по фактам, никто из них и не мог бы поступать иначе или делать меньше того, что делал. Однако в конечном результате выяснилось, что если они и не нравились миссис Лоудер – то не так сильно, как предполагали. Во всяком случае, хотя бы ради того, чтобы показать, как тетушка борется со своей неприязнью, она порой приезжала повидаться с ними и время от времени приглашала их к себе; короче говоря, она, как это теперь выглядело, держала их при себе на условиях, какие в лучшем случае дарили ее сестре роскошь вечного недовольства. Кейт знала, что эта сестра – несчастная миссис Крой – судила о другой с чувством глубокой обиды и воспитала детей – Мэриан, мальчиков и саму Кейт – так, чтобы они выработали для себя особую позицию, за знаками проявления которой друг у друга они трепетно следили. Эта позиция должна была ясно показывать тетушке Мод, с той же регулярностью, как получались ее приглашения, что они все – спасибо огромное! – вполне самодостаточны. Однако реальной почвой для такой позиции, как Кейт стала со временем понимать, являлось то, что сама тетушка не была для них *достаточна*. То небольшое, что она им предлагала, следовало принимать лишь после долгих отказов, но вовсе не потому, что это было и в самом деле излишним. Это их всех ранило – в том-то и загвоздка! – потому, что не оправдывало их надежд.

Количество новых предметов, которые наша юная леди могла наблюдать из высоко расположенного южного окна, выходящего на Парк, – это количество было так велико (хотя некоторые из увиденных ею предметов были старыми, только переделанными или просто, как говорится о других вещах, «хорошо отделанными»), что жизнь теперь, от недели к неделе, все более оборачивалась к ней лицом поразительного и аристократически изысканного незнакомца. Она достигла уже значительного возраста – ведь ей представлялось, что в двадцать пять лет поздно менять свои взгляды, и всеохватным чувством ее было не сожаление, а, скорее, тень сожаления о том, чего она не знала прежде. Мир стал другим – на радость или на горе – не таким, каким он представлялся ей из-за ее прежних примитивных восприятий, и это вызывало в ней ощущение зря прожитого прошлого. Если бы только она узнала обо всем этом раньше, она могла бы лучше подготовиться к встрече. Во всяком случае, она совершала открытия буквально каждый день: некоторые были о ней самой, другие – о других людях. Два из них – совершенно разные, каждое под своей рубрикой – поочередно вызывали в ней особое волнение. Она увидела ясно, как не видела никогда раньше, сколь много говорили ей вещи *материальные*. Она увидела, краснея от стыда, что если теперь, по контрасту со своими прежними сторонами, жизнь воздействовала на нее как «хорошо отделанное» платье, это происходило именно благодаря «отделке» – все дело было в кружевах, лентах, шелке и бархате. Кейт была крайне восприимчива к удовольствию, какое доставляли ей подобные вещи. Ей нравились очаровательные комнаты, предоставленные ей тетушкой Мод: они нравились ей гораздо больше, чем ей когда-либо нравилось что-то в ее прежней жизни; и ничто не могло вызвать у нее большую неловкость, чем предположение о том, как ее родственница относится к этой, новой для самой Кейт, истине. Ее родственница была поразительна, Кейт никогда раньше не оценивала ее по достоинству. Все эти великолепные условия отдавали ею с утра до вечера, но она была персоной, при более близком знакомстве с которой душа, как ни странно, уходила в пятки.

Второе великое открытие Кейт заключалось в том, что, в отличие от поверхностного сочувствия миссис Лоудер, пришедший в упадок дом на Лексем-Гарденс не оставлял ее мыслей ни ночью, ни днем. Всю зиму Кейт проводила часы за размышлениями, которые были несколько не менее критическими оттого, что она в это время оставалась совершенно одна: недавние события, объяснявшие ее траур, обеспечивали ей определенную меру изоляции, и в этой изоляции влияние ее соседки оказывалось особенно сильным. Сидя далеко внизу, тетушка Мод тем не менее непрестанно присутствовала здесь же, из-за чего впечатлительная племянница ощущала на себе ее весьма сильное воздействие. Теперь она, эта впечатлительная племянница, знала о себе, что ее давно взяли на заметку. Она знала и понимала больше, чем могла бы рассказать за весь долгий декабрьский день, сидя наверху, у камина. Она знала теперь так много, что именно это знание оказалось тем, что держало ее здесь, порой заставляя ее чаще ходить туда и обратно – от обитого шелком дивана, поставленного для нее так, чтобы на нее падал свет горящих поленьев, к расстилавшейся внизу, прямо под ее наблюдательным пунктом, серой карте Миддлсекса. Спуститься вниз, покинуть свое убежище означало бы встретиться со своими открытиями на полпути, решиться встать с ними лицом к лицу или бежать от них прочь, тогда как они были так высоко, что от них доносилось лишь грохотанье, подобное отзвукам далекой осады хорошо защищенной и снабженной провиантом цитадели. В те недели ей чуть ли не нравилось то, что вызывало ее нерешительность и нервную напряженность: утрата матери, крушение отца, неприятности сестры, подтверждение их истощившихся возможностей и – особо – то, что ей необходимым стало признать: если она поведет себя «порядочно», как она сама это называет, то есть сделает что-то ради других, она сама останется без всяких средств к существованию. Она полагала, что имеет право на печаль и неподвижность: она лелеяла их за их правомочность все отложить. То, что позволялось теперь отложить, было главным образом решение об отказе, хотя о каком именно отказе, она вряд ли могла точно сказать: об отказе от всего, как моментами это ей представлялось, то есть о полной сдаче на милость победителя – тетушки Мод, чья «личность» призрачными очертаниями постоянно присутствовала рядом с ней. Тетушка Мод поражала именно своей пугающе огромной личностью, и эта значительная масса всегда незримо присутствовала, потому что в густом, словно туман, воздухе ее упорядоченного существования обнаруживались стороны, несомненно преувеличенные, и стороны совершенно неясные. И в том и в другом случае они – и неясные стороны, и четкие – равным образом характеризовали ее сильную волю и своевластие. У Кейт не было сомнений, что здесь ее могут съесть, и она сравнивала себя с дрожащей девчушкой, которую оставили ждать день или два, отдельно от всех других детей, пока настанет ее черед, однако надежды нет, и рано или поздно ее введут в клетку львицы.

А клеткой львицы была личная комната тетушки Мод, ее кабинет, ее счетная палата, ее поле битвы, *in fine*, ее исключительное место действия. Эта комната располагалась на нижнем этаже, дверь ее выходила в главный вестибюль, и для нашей юной леди, при выходе или входе в дом, она играла роль то ли караулки с охранником, то ли пункта сбора платы за вход; львица выжидала: девчушка сознавала хотя бы это; львица же понимала, что рядом есть лакомый кусочек, предположительно очень мягкий и нежный. Кстати говоря, тетушка Мод была бы замечательной львицей, весьма подходящей для показа, великолепная фигура, хоть для выставки, хоть для чего-либо другого: величественная, пышная, яркая, вся – сверкающий глянец, вечно в атласе, в мерцании бисера и блеске драгоценностей, с сияющими агатовыми глазами, блестящими, черными как вороново крыло волосами, с лицом, ухоженным, как хорошо содержащийся фарфор, но кожа на этом лице казалась слишком сильно натянутой, что особенно сказывалось на его изгибах и в уголках.

Племянница придумала для тетки тайное имя – она хранила его в секрете: думая о ней, свободно о ней фантазируя, Кейт представляла ее себе как нечто типично островное и

называла ее про себя «Рыночной Британией» – Британией несомненной, но с писчим пером за ухом, – и Кейт чувствовала, что не будет счастлива, пока при первом же удобном случае не добавит ко всем прочим ее доспехам – шлему, щиту и трезубцу – еще и счетную книгу. Однако, по правде говоря, Кейт сознавала, что силы, с которыми ей придется иметь дело, вовсе не были совершенно такими, как предполагал сей образ в его простом и широком смысле: ведь каждый день она училась все лучше понимать свою тетку, и яснее всего она осознала, какая это ошибка – доверяться удобным аналогиям. У этой Британии ведь была еще и целая другая сторона – ее вульгарное мещанство, ее пышное оперение, ее окружение, ее фантастическая меблировка и ее вздымающаяся грудь, фальшивые божества ее вкусов и фальшивые ноты ее речей, одно размышление о которых ввело бы размышляющего в опасное заблуждение. Она была сложной и пронизательной Британией, столь же подверженной страстям, сколь и практичной; ее ридикюль с предрассудками равнялся своей глубиной с другой ее сумкой – сумкой, доверху наполненной монетами с выбитым на них ее образом, по которому ее прекрасно знал весь мир. Коротко говоря, прикрываясь своей агрессивной-оборонительной внешностью, она проводила операции, определяемые ее житейской мудростью. Она-то и оказалась тем осаждающим, на которого мы намекали: именно так большею частью воспринимала ее наша юная леди в хорошо укрепленной и обеспеченной провиантом крепости, и особенно страшной в этой роли делало ее то, что она была беспринципна и аморальна. Так, во всяком случае, во время молчаливых совещаний с самой собой и по-юношески быстро импровизируя, Кейт создала подходящий портрет тетки: ее вполне представительный образ сводился к тому, что главный его вес измерялся на весах определенных опасностей – тех опасностей, которые вынуждали нашу молодую женщину медлить и таиться наверху, тогда как старшая, внизу, воинственная и дипломатичная, занимала такое большое пространство, какое только было возможно. Но что же это были за опасности в конечном счете, как не опасности самой жизни, опасности Лондона? Миссис Лоудер и была – Лондон, она и была – жизнь, грохотанье осады и гуща битвы. Разумеется, существовали некие вещи, которых боялась Британия, но тетушка Мод не боялась ничего, не боялась даже, как позже выяснится, напряженно мыслить.

Тем не менее Кейт хранила все эти впечатления строго про себя и практически не делилась ими с бедняжкой Мэриан, хотя постоянным предлогом ее частых визитов к сестре было то, что она по-прежнему говорит с ней обо всем. Одной из причин, удерживающих Кейт от окончательной сдачи на милость тетушки Мод, была надежда, что она сможет более свободно принимать на себя обязательства, касающиеся этой ее гораздо более близкой и гораздо менее удачливой родственницы, с которой тетушка Мод почти никогда непосредственно не общалась. Между тем более всего, в ее теперешнем состоянии, Кейт мучило то, что всякое общение с сестрой приводило к значительному ослаблению ее отваги, связывало ей руки и день ото дня все больше заставляло ее чувствовать, что роль кровных связей в жизни человека не всегда оказывается ободряющей или приятной. Теперь Кейт пришлось столкнуться лицом к лицу с этим фактом, с этой кровной связью, осознание которой, казалось, пришло к ней более ясно со смертью матери, и большую часть этого сознания мать впитала и унесла с собой. Не оставляющий ее тревожных мыслей отец, ее грозная бескомпромиссная тетка, ее обездоленные маленькие племянники и племянницы были теми фигурами, что заставляли струну естественной родственной привязанности в душе Кейт вибрировать с невероятной силой. Ее объяснение этого самой себе – и особенно в отношении Мэриан – сводилось к тому, что она видела, до чего может довести человека культивирование родственной близости. В прежние дни она приняла на себя, как она полагала, некую меру ответственности за сестру; то были дни, когда, рожденная второй, Кейт считала, что на всем свете нет никого, столь же красивого, как Мэриан, никого, столь же очаровательного, умного, кому так же, как Мэриан, обеспечены в будущем счастье и успех. Ее взгляд на сестру теперь изменился, однако Кейт, в

силу многих причин, считала себя обязанной делать вид, что ее отношение к Мэриан осталось прежним. Предмет этой оценки уже не был красив, так же как и резон считать сестру умной перестал быть очевидным; и все же отягощенная горестями, разочарованная, деморализованная, сварливая, Мэриан была в еще большей степени и еще более непреложно старшей сестрой Кейт, самой родной и близкой. Чаще всего Кейт чувствовала, что сестра постоянно вынуждает ее – Кейт – что-то делать; и всегда в неприветливом и неудобном Челси, перед дверью небольшого домика, небольшая арендная плата за который никогда не оставляла ее беспокойных мыслей, она, прежде чем войти, фаталистически спрашивала себя: что это, вероятнее всего, будет на сей раз? Кейт глубокомысленно отмечала, что разочарование делает людей эгоистичными; ее поражала безмятежность – у Мэриан такое настроение было единственно лишь в отношении сестры, – с какой бедная женщина принимала как должное самоуничтожение Кейт как младшей, принимала то, что ее жизнь превращается в неистощимое сестринское самопожертвование. С этой точки зрения, Кейт существовала лишь ради домика в Челси, и, более того, мораль, отсюда вытекающая, разумеется, говорила ей, что чем больше ты отдаешь себя, тем меньше от тебя остается. Всегда существуют люди, готовые что-то урвать от тебя, им никогда и в голову не придет, что они тебя съедают. Они едят, не ощущая вкуса.

Однако тут не случилось такой беды или, мягче говоря, такого неудобства, как быть созданной одновременно для того, чтобы быть и чтобы видеть. В нашем случае Кейт всегда видела нечто совсем иное, чем она была на самом деле, и в результате никогда не могла смириться со своим положением. Тем не менее, поскольку она никогда не позволяла Мэриан увидеть себя настоящую, та вполне могла полагать, что сама Кейт ничего такого не видит. Кейт, в своем представлении о себе, не была лицемерна в добродетели, ведь она действительно отдавала себя, но она лицемерила в собственной глупости, ибо держала про себя все, что не было, по ее мнению, ею самой. Особенно же она скрывала то чувство, с которым наблюдала, как сестра инстинктивно не пренебрегает ничем, только бы побудить ее окончательно сдаться на милость их тетки: то есть скрывала то состояние духа, какое, вероятно, ярче всего предупреждает, как бедны вы можете оказаться, притом что вы так тяжело воспринимаете отсутствие богатства. Воздействовать на тетюшку Мод следовало через Кейт, и то, что могло бы произойти с Кейт во время этого процесса, имело меньше всего значения. Коротко говоря, Кейт должна была сжечь свои корабли, ради того чтобы принести выгоду Мэриан. А жажда Мэриан получить эту выгоду заставляла ее забыть о достоинстве, для которого в конечном счете существовали свои резоны (если бы только их понимали!) и которое требовало держаться чуть более твердо. Следовательно, Кейт, чтобы держаться твердо за них обеих, придется стать эгоистичной, предпочесть идеал поведения, эгоистичнее которого просто не бывает, возможному получению случайных крох для четырех крохотных существ. История отвращения миссис Лоудер к браку ее старшей племянницы с мистером Кондрипом почти не утратила своей остроты; причина – невероятно глупое поведение мистера Кондрипа, священника скучного пригородного прихода; он обладал профилем некоего святого, и профиль этот всегда так явно заявлял о своем присутствии, что привлекал всеобщее внимание, делая критику вполне закономерной. Мистер Кондрип предьявлял свой профиль систематически, поскольку ему – ей-богу! – нечего больше было предьявлять, совсем нечего, чтобы встретить *en face* – лицом к лицу – мир людей; он даже не представлял себе, как следует пристойно жить и не лезть в чужие дела. Критическое отношение со стороны тетюшки Мод оставалось фактически неизменным: не в ее обычае считать ошибку менее существенной из-за того, что последовавшие события требуют больше сострадания, чем порицания. Она была не из тех, кто легко прощает, и единственный ее подход к тому, чтобы не замечать эту семью, был – не замечать ее, а вместе с пережившей мужа преступницей не замечать и маленькую сплоченную фалангу, которая теперь эту семью представляла. Из двух зловещих

церемоний – свадьбы и погребения, которые тетюшка как-то смешала в одну кучу, она присутствовала на первой и, более того, прислала Мэриан перед свадьбой довольно щедрый чек, однако эти ее деяния значили для нее не более, чем тень допустимой связи с миссис Кондрип в дальнейшей жизни племянницы. Тетка не одобряла шумливых детей, для которых не было никаких перспектив, не одобряла рыдающих вдов, не способных исправить свои ошибки, и, таким образом, предоставила Мэриан пользоваться единственной оставшейся роскошью из многих утраченных – удобным поводом для постоянной обиды. Кейт Крой прекрасно помнила, как относилась к этому, в совсем другом доме, их мать, и именно явная неспособность Мэриан пожинать плоды негодования объединила сестер в содружество с почти равным ощущением униженности у обеих. Если эта теория и вправду верна, то – да, увы! – одну из сестер перестали замечать, зато другую замечали вполне достаточно, чтобы послужить тому компенсацией. Тогда кто же не поймет, что Кейт не сможет отделить себя от содружества, не проявив жестокой гордости? Этот урок стал особенно ясен для нашей юной леди через день после ее беседы с отцом.

– Не могу себе представить, – сказала ей во время их встречи Мэриан, – как это ты можешь даже помыслить о чем-то другом, кроме нашего ужасающего положения?

– А скажи, пожалуйста, – в ответ задала ей вопрос Кейт, – как это ты можешь знать хоть что-то о моих мыслях? Мне кажется, я достаточно доказываю, как много я думаю о тебе. Я действительно не понимаю, моя дорогая, что еще ты можешь иметь в виду.

Резкий ответ Мэриан оказался ударом, к которому она, очевидно, постаралась разными способами подготовиться, тем не менее в нем прозвучала и неожиданная нота непосредственности. Мэриан вполне ожидала, что сестра напугается, но здесь был случай особый, даже грозящий бедой.

– Ну что же, твои личные дела – это твои личные дела, и ты можешь сказать, что нет никого, менее меня имеющего право читать тебе проповеди, но все равно, даже если ты в результате навсегда отречешься от меня, умоешь, так сказать, руки, я не стану на сей раз таить от тебя, что считаю тебя не вправе, при том, в какой ситуации мы все находимся, взять и загубить свою жизнь, бросившись в бездну.

Происходило это после детского обеда, который одновременно был и обедом их матери, но их молодая тетюшка как-то ухитрилась в большинстве случаев не превратить его в свой ланч; две молодые женщины все еще сидели перед скомканной скатертью, разбросанными передничками, выскобленными тарелками, вдыхая душный запах вареной еды. Кейт вежливо спросила, нельзя ли ей немного приоткрыть окно, на что миссис Кондрип, вовсе не вежливо, ответила, что она может поступать, как ей заблагорассудится. Очень часто она воспринимала такие вопросы так, словно они бросали тень на непорочную сущность ее малышек. А четверо малышек уже удалились, в суете и шуме, под небезупречным руководством маленькой ирландки – гувернантки, которую их тетка выискала для них и грустную решимость которой не продолжать долее это ничем не увенчанное мученичество Кейт все основательнее подозревала. Мать же малышек казалась теперь Кейт, считавшей изменение сестры результатом того именно, что Мэриан стала их матерью, совершенно иным человеком, совсем не той мягкой и доброй Мэриан, какой была в прошлом; вдова мистера Кондрипа очень выразительно затмила прежний образ. Она была чуть более, чем обтрепавшийся реликт собственного мужа, очевидный прозаический его результат, словно ее каким-то образом протащили сквозь него, как сквозь тесный дымоход, лишь затем, чтобы вытащить наружу помятой, никчемной и опустошенной, не оставив в ней ничего, кроме того, что объяснялось влиянием мужа. Лицо у нее стало красным, она пополнела, хотя и не была еще слишком толстой, а эти черты не так уж подобают глубокому трауру. Мэриан становилась все меньше и меньше похожей на кого-либо из семейства Крой, особенно – на Кроя в беде, и все больше – на двух незамужних сестер мистера Кондрипа, навещавших ее довольно

часто, а на взгляд Кейт, слишком часто, и остававшихся гостить слишком долго, следствием чего становилось неминуемое посягательство на чай и хлеб с маслом, то есть возникали проблемы, по поводу которых Кейт, не вовсе незнакомая со счетными книгами торговцев, испытывала некие чувства. По поводу этих чувств Мэриан была особенно обидчива, и ее ближайшая родственница, все видевшая и все взвешивавшая, отмечала как странность, что сестра воспринимает любое рассуждение об этих чувствах как рассуждение о ней самой. Если всякий брак непременно делает с тобой такое, она – Кейт Крой – поставит замужество под вопрос. Во всяком случае, здесь был печальный пример того, что мужчина – да еще такой мужчина! – может сотворить с женщиной. Ей было хорошо видно, как парочка сестер Кондрип давит на вдову их брата по поводу тетушки Мод, которая, в конце концов, ведь не была их теткой, как понуждают Мэриан болтать и даже чваниться, за бесчисленными чашками чая, которые они поглощали, по поводу Ланкастер-Гейт, превращая ее в существо, гораздо более вульгарное, чем мог бы стать – казалось, им такое на роду вообще не написано – любой из Кроев, беседуя на подобную тему. Сестры Кондрип выкладывали Мэриан все как на ладони, растрavляли рану, утверждали, что следует не сводить глаз с Ланкастер-Гейт, что именно Кейт, и никто другой, должна это делать. Так что наша юная леди, странным или, скорее, печальным образом с уверенностью ощутила, что она собственной персоной оказалась гораздо более доступным предметом для обсуждения с их стороны, чем они, в свою очередь, с ее. Самым красивым в этой истории было то, что Мэриан вовсе их не любила. Однако они ведь были Кондрипы, они возросли рядом с розой; они были почти как Берти и Моды, как Китти и Гай. Они говорили с Мэриан о покойном муже, чего никогда не делала Кейт, это были отношения, при которых Кейт могла лишь слушать, не произнося ни слова. Она ведь не могла слишком часто говорить себе: «Если замужество делает с тобой такое, то...!» Можно легко догадаться поэтому, что иронический луч ее скепсиса падал как раз на то поле, где Мэриан взрастила свое предостережение.

– Я не совсем понимаю, – ответила она, – в чем же, по-твоему, конкретно кроется поджидающая меня опасность? Уверяю тебя, у меня и в мыслях нет «бросаться» куда бы то ни было. Я и так в настоящий момент чувствую себя в значительной степени брошенной.

– Разве ты не чувствуешь, – Мэриан наконец-то высказала все, о чем молчала, – желания выйти замуж за Мертона Деншера?

Кейт помолчала с минуту, чтобы достойно встретить этот вопрос.

– А ты полагаешь, что, если бы я чувствовала такое желание, я была бы обязана тебя предупредить, с тем чтобы ты могла вмешаться и отвести меня от края бездны? В этом твоя идея? – спросила Кейт. Потом, так как ее сестра тоже сделала паузу, она заметила: – Не знаю, что заставляет тебя говорить о мистере Деншере.

– Я говорю о нем просто потому, что ты о нем не говоришь. Никогда не говоришь, вопреки тому, что я знаю, – вот что заставляет меня о нем думать. Или, пожалуй, это заставляет меня думать о тебе. Если ты до сих пор не понимаешь, на что я ради тебя надеюсь, о чем я для тебя мечтаю – при всей моей привязанности к тебе, – тогда все мои попытки рассказывать тебе об этом бесполезны. – Но Мэриан очень разгорячилась, убеждая сестру, и у Кейт возникла уверенность, что она обсуждала мистера Деншера с обеими мисс Кондрип. – Если я называю имя этого человека, то лишь потому, что я так его боюсь. Если хочешь знать, он вызывает у меня ужас. Если ты действительно хочешь знать, фактически он мне не нравится настолько же, насколько я его боюсь.

– И ты тем не менее не считаешь опасным говорить мне о нем гадости?

– Да, – призналась миссис Кондрип, – я считаю, что это опасно, только как я могу говорить о нем иначе? Смею сказать – я даже допускаю, что совсем не должна бы говорить о нем. Только я и правда хочу на сей раз, как я уже говорила, чтобы ты об этом знала.

– Знала о чем, моя дорогая?

– Что я должна считать это, – тотчас же ответила ей Мэриан, – безусловно самым плохим из всех событий, происходивших с нами до сих пор.

– Из-за того, что у него нет денег? Ты это имеешь в виду?

– Да, но не одно это. Из-за того, что я в него не верю.

Кейт оставалась вежливой, но лишь машинально.

– Что ты имеешь в виду, говоря, что не веришь в него?

– Ну, я уверена, он никогда не добьется денег. А они тебе очень нужны. Ты *должна* их иметь. И *будешь* их иметь.

– Чтобы давать их тебе?

Мэриан встретила этот вопрос с готовностью, практически – с дерзостью.

– Прежде всего чтобы иметь их. В любом случае – чтобы больше не продолжать существование без денег. А тогда мы увидим.

– Да уж, мы тогда и правда увидим! – Разговор принял такой характер, какого Кейт терпеть не могла. Однако, если Мэриан захотелось быть вульгарной, что можно тут поделаться? Все это заставило ее подумать о сестрах Кондрип с вновь охватившей ее антипатией. – Мне нравится, как ты все расставляешь по местам, – мне нравится, что ты считаешь само собой разумеющимся. Если мы так легко можем выйти замуж за мужчин, желающих, чтобы мы швырялись их золотыми, интересно, зачем же нам – любой из нас – поступать иначе? Я что-то не вижу вокруг такого уж большого их количества и не уверена, какой интерес они могут когда-либо у меня вызвать. – И тут же добавила: – Ты, моя дорогая, живешь в мире тщетных мечтаний.

– Не в такой степени, как ты, Кейт, ведь я вижу то, что вижу, и ты не сможешь так просто от всего этого отделаться. – Старшая сестра надолго замолчала, и на лице младшей, несмотря на чувство превосходства, отразилось мрачное предчувствие. – Я говорю не о каком-нибудь мужчине, а о человеке тетушки Мод, и даже не о каких-нибудь деньгах, если на то пошло, а о деньгах тетушки Мод. И я говорю не о чем ином, как только о том, чтобы ты поступала так, как она хочет. Ты не права, если думаешь, что я чего-то хочу от тебя: я хочу только того, чего хочет она. Это меня вполне удовлетворит! – И тон Мэриан поразил Кейт, как тон самого низкого пошиба. – Если я не верю в Мертона Деншера, то, во всяком случае, я верю в миссис Лоудер.

– Твои идеи более всего меня поражают тем, – ответила на это Кейт, – что они точно совпадают с идеями нашего отца. Я получила их от него только вчера – тебе должно быть интересно узнать об этом, – и притом со всем свойственным ему блеском, какой ты можешь себе представить.

Мэриан совершенно явно заинтересовалась этим сообщением.

– Он что же, заезжал повидать тебя? – спросила она.

– Нет, я сама ездила к нему.

– В самом деле? – удивилась сестра. – С какой же целью?

– Сказать, что я готова переехать к нему.

Мэриан глядела на Кейт во все глаза:

– Готова бросить тетушку Мод?...

– Ради отца. Да.

Она вдруг багрово покраснела, эта бедная миссис Кондрип, покраснела от страха.

– Ты готова...?!

– Так я ему сказала. Меньше того я ничего не могла ему предложить.

– Ради всего святого, скажи, разве ты могла бы предложить ему больше? – В огорчении Мэриан почти прорыдала эти слова. – В конечном счете *что* он для нас? И ты говоришь о таких вещах так легко и просто?

Сестры пристально смотрели друг на друга. В глазах Мэриан стояли слезы. Кейт с минуту понаблюдала за ними, потом сказала:

– Я хорошо все продумала – и не один раз. Но тебе незачем чувствовать себя оскорбленной. Я к нему не перееду. Он не хочет принять меня.

Ее собеседница все еще часто и тяжело дышала. Потребовалось некоторое время, чтобы ее дыхание выровнялось.

– Ну, я тоже не захотела бы принять тебя, вообще перестала бы тебя принимать – могу тебя заверить, – если бы ты получила от него любой другой ответ. Да, я чувствую себя оскорбленной – тем, что ты такого пожелала. Если бы ты отправилась к нашему папа, моя милая, тебе пришлось бы забыть дорогу ко мне. – Мэриан произнесла это так, словно рисовала грозную картину лишений, от которой ее сестра тотчас бы в ужасе отпрянула. Такие угрозы Мэриан могла произносить вполне уверенно, считая, что мастерски владеет этим искусством. – Но если он не хочет принять тебя, – добавила она, – он тем самым, по крайней мере, проявляет свою сообразительность.

У Мэриан всегда имелся свой особый взгляд на сообразительность: она всегда, как про себя отмечала ее сестра, великолепно рассуждала об этом качестве. Однако у Кейт нашлось, в чем укрыться от раздражения.

– Он меня не хочет принять, – просто повторила она, – но он, подобно тебе, тоже верит в тетушку Мод. Он угрожает мне отцовским проклятием, если я ее покину.

– Значит, ты ее *не покинешь*? – Поскольку Кейт поначалу ничего не ответила, Мэриан воспользовалась ее молчанием. – Не покинешь, конечно же? Я вижу, что не покинешь. Но я не вижу, раз уж мы заговорили об этом, почему мне не следует раз и навсегда настоятельно повторить тебе простую истину обо всем происходящем. Истина, моя дорогая, кроется в твоём долге. Ты хоть когда-нибудь думаешь о своём долге? Это же величайший долг из всех долгов на свете.

– Ну вот, опять! – рассмеялась Кейт. – Папа тоже был беспредельно выразителен по поводу моего долга.

– Ох, я вовсе не претендую на выразительность, но я претендую на более глубокое знание жизни, чем у тебя, Кейт, и, возможно, даже более глубокое, чем у папы. – Казалось, в этот момент Мэриан взглянула на упомянутый персонаж в свете добродушной иронии. – Бедненький старенький папа! – при этом она вздохнула, как бы многое в его поступках оправдывая: слух ее сестры довольно часто улавливал такое в ее речах. «Милая старенькая тетушка Мод!» Это были речи такого толка, что заставляли Кейт резко отворачиваться на некоторое время, а сейчас она просто собралась сразу же уйти. В них опять-таки звучала жалкая нота униженности: трудно было сказать, какой из двух упомянутых персонажей недолголюбивал Мэриан больше, чем другой. Младшая сестра предложила во что бы то ни стало оставить эту дискуссию и полагала, что она-то, со своей стороны, в протекшие десять минут именно так и делала, поскольку не желала резко оборвать разговор перед тем, как достойно покинуть дом старшей. Однако оказалось, что Мэриан продолжает дискуссию, и так, что в самый последний момент Кейт пришлось в ней участвовать.

– Кого ты имела в виду, говоря о молодом человеке тетушки Мод?

– Кого же еще, как не лорда Марка?

– Где же ты услышала такую вульгарную чепуху? – резко спросила Кейт, хотя лицо ее оставалось спокойным и ясным. – Как такие сплетни попадают к тебе в дом в этой глухой дыре?

Задавая этот вопрос, она успела удивленно подумать о том, куда же подевалось изящество, которому она стольким жертвовала? Мэриан определенно почти ничего не делала, чтобы его сохранить, и ничто не было в действительности столь необоснованным, как причина ее жалоб. Сестре хотелось, чтобы Кейт «обрабатывала» Ланкастер-Гейт, так как счи-

тала, что это изобильное поле может быть обработано; однако сейчас она не понимала, почему выгода от изобильной родственной связи должна быть использована для того, чтобы нанести оскорбление ее бедному дому. В эту минуту, как оказалось, Мэриан фактически заняла ту позицию, что сестра сама держит ее в «глухой дыре», да еще бессердечно напоминает ей об этом. Тем не менее она не объяснила, от кого услышала сплетню, из-за которой сестра потребовала от нее объяснений, так что Кейт осталось лишь – в который уже раз – увидеть в этом признаки вкрадчивого любопытства обеих мисс Кондрип. Они жили в еще более глухой дыре, чем Мэриан, но держали ушки на макушке, дни свои проводили, рыская по городу, тогда как Мэриан, в одежде и обуви, которые, казалось, день ото дня становились все шире и больше размером, никогда не слонялась без дела. Временами Кейт задавалась вопросом, не были ли эти мисс Кондрип предназначены Мэриан судьбой в качестве предостережения младшей сестре о том, что может стать в будущем с нею самой, лет этак в сорок, если она бездумно отпустит все идти своим чередом. То, чего ждали от нее другие – их ведь было так много! – при любых обстоятельствах, а в этом случае особенно, могло выглядеть далеко не шуточным делом, и сейчас все приняло именно такой оборот. Ей предстояло не только поссориться с Мертоном Деншером, чтобы доставить удовольствие пятерым своим наблюдателям – вместе с двумя мисс Кондрип их получалось пять: ей предстояло отправиться на охоту за лордом Марком на основании абсурдной теории, что в случае успеха она получит премию. Премией помахивала рука тетушки Мод, и она походила на колокол, долженствующий прозвонить, как только его коснутся в конце охоты, вызвав приветственные клики публики. Кейт довольно проницательно выявила слабые места этой несбыточной придумки, в результате чего ей в конце концов удалось несколько охладить уверенность старшей сестры; впрочем, миссис Кондрип по-прежнему защищалась доводом, имевшим в конечном счете великий смысл: что их тетушка будет безмерно щедра, если их тетушка будет довольна. Подлинная личность ее кандидата – это всего лишь деталь; суть заключается в ее концепции того, кто может стать подходящей парой для ее племянницы, какие возможности открываются для Кейт с ее, тетушкиной, помощью. Мэриан всегда рассуждала о браках как о парах людей, подходящих друг другу, однако это опять-таки было всего лишь деталью. «Помощь» миссис Лоудер тем временем ждала их если и не для того, чтобы осветить путь к лорду Марку, то к кому-то еще лучшему, чем он. Мэриан готова была *in fine*² примириться с тем, кто много лучше, она только не примирилась бы с тем, кто много хуже. Кейт пришлось снова пройти через все это, прежде чем был достигнут достойный выход из сложившейся ситуации. Он был достигнут в результате принесения в жертву мистера Деншера – в обмен на сведение к абсурду лорда Марка. Так что расстались сестры довольно нежно. Кейт отпустили после того, как она долго слушала про лорда Марка, радуясь, что ей под сурдинку не стали говорить ни о ком другом. Она отвергла все и вся, размышляла Кейт, унося ноги, и это ее решение приносило облегчение, но заодно, словно метлой, выметало прочь ее будущее. Предлагаемая ей перспектива выглядела пустой и голой, что сразу же ставило ее как бы на одну доску с двумя мисс Кондрип.

² В конце концов (лат.).

Книга вторая

I

Мертон Деншер, проводивший лучшую часть ночных часов в редакции своей газеты, порой не мог обойтись без того, чтобы в дневное время не компенсировать это, обретая чувство или, по крайней мере, хотя бы вид человека, которому совершенно нечего делать, в результате чего его можно было повстречать в разных частях Лондона как раз в те моменты, когда деловые люди спрятаны от взоров публики. Чаще всего в конце этой зимы, примерно в три часа или ближе к четырем, он настолько отклонялся в сторону, что оказывался в Кенсингтон-Гарденс, где можно было каждый раз наблюдать, что он ведет себя как заядлый бездельник. В большинстве случаев Деншер, по правде говоря, сначала решительно направлялся в северную часть парка, однако, достигнув сей территории, он менял тактику: его поведение явно оказывалось лишены цели. Он переходил, как бы бесцельно, из одной аллеи в другую, без видимой причины останавливался и стоял, празднично уставившись в пространство; он усаживался на стул, затем пересаживался на скамью, потом поднимался и снова принимался ходить туда-сюда, повторяя перемежающиеся периоды нерешительности и оживления. Определенно, это был человек, кому либо нечего делать, либо требовалось об очень многом поразмыслить; нельзя отрицать поэтому, что весьма часто впечатление, какое он в результате мог произвести, возлагало на него тяжкое бремя доказательств обратного. Можно сказать, что виной тому в некоторой степени была его внешность, его личные черты, по которым почти невозможно было определить его профессию.

Мертон Деншер был молодой англичанин, длинноватый, худоватый, светловатый и с некоторых сторон вполне поддающийся классификации – как, например, в том, что он – джентльмен, принадлежит к разряду людей хорошо образованных, как правило, здравомыслящих и, как правило, хорошо воспитанных; однако все же не до такой степени, чтобы счесть его неординарным или из ряда вон выходящим: тут он никак не сыграл бы на руку наблюдателю. Слишком молодой для палаты общин, он уже не годился для армии. Можно было бы сказать, что он слишком утончен для Сити, и, несмотря на покрой его костюма, можно было почувствовать, что он слишком скептичен для Церкви. С другой стороны, он выглядел слишком легковверным для дипломатической деятельности, а возможно, и для деятельности научной, но в то же время весьма походил на поэта чистотою своих чувств, хотя эти чувства были бы слишком недостаточны, чтобы он мог стать художником. Вы могли бы очень близко подойти к нему, дав ему понять, что – потенциально – готовы разделить его идеи, но с тем же успехом тотчас же бросились бы прочь, когда речь зашла бы о сути этих идей. Трудность в отношении Деншера заключалась в том, что он казался нерешительным, но вовсе не выглядел слабым, выглядел праздничным, но не казался пустым. Вполне вероятно, что виной тому такие случайные черты, как длинные ноги Деншера, имевшие свойство вытягиваться, его прямые светлые волосы и хорошей формы голова, никогда не бывавшая аккуратно приглаженной, которая к тому же способна была, как раз в то время, когда ее призывали к чему-то иному, вдруг откидываться назад и, поддерживаемая поднятыми к затылку руками и сплетенными пальцами, уносить своего владельца на довольно долгий период в общение с потолком, с кронами деревьев, с небесами. Коротко говоря, он был заметно рассеян, не всегда умен, склонен отказываться от синицы в руках и гнаться за журавлем в небе и проявлял себя скорее как прямой критик, чем прямой последователь принятых обычаев. Более того, он заставлял предполагать тем не менее, что в чудесную пору юности все составные части личности, все более или менее драгоценные металлы находятся еще в расплавленном состо-

янии, они сливаются и ферментируются, так что вопрос об окончательной штамповке, об отпечатке, определяющем истинную ценность, следует отложить, пока расплавленная масса не станет достаточно холодной. И это было знаком существовавшей в нем интереснейшей смеси: если он и бывал раздражителен, то в соответствии с правилами существенной тонкости – правилами, делавшими общение с ним полезным, хотя и вовсе не легким. Одним из свойств такого общения могло быть то, что у Деншера в запасе для вас имелись сюрпризы: не только вспыльчивость, но и терпимость.

Он слонялся без дела в лучшее время не очень суровых дней, в тех нескольких случаях, о которых мы теперь рассказываем, в той части Кенсингтон-Гарденс, что ближе всего к Ланкастер-Гейт, и когда Кейт Крой – всегда в должное время – выходила из дома своей тетушки, пересекала улицу и появлялась в парке через ближайшую калитку, все остальное становилось настолько открытым публичному обозрению, что превращалось чуть ли не в аномалию. Если предполагалось, что их встреча должна быть дерзкой и свободной, они могли бы встречаться где-то в четырех стенах; если эта встреча должна была быть скромной или тайной, они могли бы встретиться где угодно – все было бы лучше, чем под окнами миссис Лоудер. Правда, они и не оставались все время на одном и том же месте, они прогуливались – медленно или быстрым шагом – во время их увлеченных бесед, проходя порой значительное расстояние, а иногда находили себе пару стульев под каким-нибудь из огромных деревьев и усаживались поодаль – настолько поодаль, насколько это было возможно, – от всех и каждого в парке. Однако поначалу у Кейт был такой вид, словно ей хотелось быть вполне видимой преследователям и даже оказаться пойманной на месте преступления, если о таких вещах у кого-то вообще заходила речь. Как она утверждала, суть заключалась в том, что ей столь же несвойственно хитрить и таиться, сколь несвойственно быть вульгарной; что парк Кенсингтон-Гарденс очарователен сам по себе и такое его использование – дело вкуса; а если ее тетушка предпочтет сердито наблюдать за ней из окна гостиной или добьется, чтобы ее выследили и застали с поличным, она – Кейт – может, во всяком случае, сделать так, чтобы им было удобно и легко это совершить. Дело в том, что отношения между этими молодыми людьми изобиловали такими странностями, какие довольно точно символизировались их тайными встречами, которые они устраивали скорее просто для того, чтобы побыть в обществе друг друга, чем из иных побуждений. Что же до силы той связи, что удерживала их вместе, у нас будет достаточно места, чтобы тщательно эту силу измерить; но уже теперь было вполне очевидно, что, если бы перед ними открылись великолепные возможности, это произошло бы лишь по известному закону противоречия, сформулированному еще Аристотелем. Глубокая гармония, какая когда-либо смогла бы руководить ими, стала бы не результатом того, что у них было так много общего – или, по крайней мере, хоть что-то общее, помимо их нежных чувств друг к другу: она могла бы, до некоторой степени, найти себе то объяснение, что каждый из них, со своей стороны, считал себя бедным в том, в чем другой был богат. На самом деле в этом нет ничего нового – великодушные молодые люди часто восхищаются тем, что им самим не дано: из чего, очевидно, следует, что наши молодые друзья были людьми великодушными.

Мертон Деншер неоднократно повторял себе, и с очень юных лет, что будет глупцом, если женится на женщине, чья ценность не будет определяться ее отличием от него самого. Кейт Крой, хотя и не особенно философствовала, сразу же распознала в молодом человеке драгоценную непохожесть. Он представлял собою то, чего ее собственная жизнь никогда ей не давала и, разумеется, без чьего-либо содействия, подобного тому, что оказывал ей Деншер, никогда не могла бы дать: то есть все эти высокие, труднодоступные пониманию вещи, которые она впитывала все сразу, без разбора, как плоды ума. Для Кейт Деншер был богат именно умом, он представлялся ей загадочным и сильным; он оказывал ей особенную, превосходную услугу, превращая этот элемент в нечто реальное. До этих пор все дни своей

жизни ей ничего иного не оставалось, как принимать существование этого элемента на веру: ни одно из Божьих созданий, с кем ей когда-либо приходилось встречаться, не было способно непосредственно свидетельствовать о его наличии. Неясные слухи о его существовании уже успели проложить к ней свой рискованный путь, однако ничто вокруг не опровергало ее опасений, что – скорее всего – ей придется жить и умереть, так и не получив возможности эти слухи проверить. Возможность явилась в виде совершенно необычайного шанса – в тот день, когда она впервые встретила Мертона Деншера, и, к непреходящей чести нашей юной леди, надо сказать, что она тут же распознала, в присутствии чего она находится. Это событие и в самом деле достойно особо торжественного упоминания из-за того, что сразу же расцвело в этой встрече. Восприятие Деншера бросилось навстречу восприятию юной девушки и пошло точно в ногу с ее распознаванием. Он так часто приходил к заключению о своей, как он это называл, слабой стороне, то есть жизни, считая своей сильной стороной исключительно мысль, что делал логический вывод: жизнь есть некая необходимость, которую ему следует каким-то образом присвоить и сохранить в собственном владении. Эта необходимость была поистине существенна, ибо мысль сама по себе просто уходит в пустоту: она должна черпать свое дыхание из атмосферы самой жизни. Так что наш молодой человек, наивный, хотя и большой, критически настроенный, хотя и полный энтузиазма, смог осуществить и свои намерения, и намерения Кейт Крой. Впервые они встретились еще до смерти ее матери – встреча стала для нее знаменательной, как последнее дозволенное удовольствие в преддверии близящегося печального события, после которого мрачные месяцы возвели вокруг нее завесу и, как теперь понимала Кейт, соединили в одно целое конец и начало.

Начало, к которому она часто возвращалась мыслями, явилось для нашей молодой женщины эпизодом величайшей яркости: званый вечер, устроенный в «галерее» некоей дамой, ловившей рыбку большими сетями. Испанская танцовщица – в тот момент она считалась главной усладой Лондона, американский чтец – радость любителей этого жанра, венгерский скрипач – чудо света без определенных занятий... Ради названных и других приманок компания, в которой, по редкостной привилегии, очутилась Кейт, была собрана довольно свободно, без строгого отбора. Кейт жила под крышей материнского дома, как ей представлялось, тихо и незаметно и практически не знала людей, устраивавших приемы такого масштаба, однако у нее были какие-то дела с двумя-тремя знакомыми, которые, как оказалось, были связаны с такими людьми, и через этих двух-трех знакомых поток гостеприимства, просочившись или просто широко разлившись, докатился до отдаленных резервуаров. *In fine*, доброжелательная дама – подруга ее матери и родственница дамы из галереи, предложила Кейт взять ее с собой на тот званый вечер, о котором теперь идет речь. Там она еще более ее облагодетельствовала, представив ее двум-трем лицам, что на таких значительных приемах ведет ко многому другому, – в частности, в ее случае это привело к кульминации: к беседе Кейт с высоким светловолосым, не совсем причесанным и немного неуклюжим, но уж никак не тоскливо-скучным молодым человеком. Молодой человек поразил ее своей отъединенностью, растерянностью и – как, кстати, он сам думал о себе – своим отчаянным блужданием в этом обществе, словно в тумане; он, как ей представилось, гораздо сильнее отличался от всего, что их окружало, чем кто бы то ни был другой, и даже, вероятно, мог бы исчезнуть с ее горизонта, если бы его попытались втянуть во взаимоотношения с ней. Он и правда в тот же вечер заверил ее честным словом, что готов был сбежать оттуда и только их встреча помешала его побегу, но теперь он понял, как жаль ему было бы упустить возможность встретиться с ней. Этого пункта в беседе они достигли к полуночи, и хотя ценность таких высказываний определяется их тоном, к полуночи и тон был соответствующий. Кейт с самого начала смогла полностью понять Деншера, по крайней мере понять его угнетенное, смутное состояние: полное понимание у нее часто наступало немедленно; затем ее непредвзятое сознание вдруг подсказало ей, что в течение пяти минут к ним обоим что-то... ну,

она не могла это определить иначе, как словом *«пришло»*. Это нельзя было разглядеть или взять в руки, это можно было только как-то чувствовать и знать; это было что-то, каким-то образом случившееся с каждым из них обоих.

Оба обнаружили, что каждый из них глядит на другого прямо и дольше, чем принято даже на приемах в галереях; однако это, в конце концов, само по себе имело бы не слишком большое значение для таких молодых, красивых людей. Одним словом, тут не просто встретились их глаза, другие чувствительные органы – органы сознания, физические и умственные способности, все их щупальца встретились тоже, и когда впоследствии Кейт представляла себе эту острую, глубокую встречу, она, странным образом, смотрела на нее как на особого рода игру. Она тогда видела приставную лестницу у глухой садовой ограды и настолько доверяла своим силам, что решила влезть на нее, чтобы заглянуть сверху в предполагаемый по другую сторону сад. Добравшись до самого верха, она очутилась лицом к лицу с джентльменом, в тот же самый момент и с тем же расчетом предпринявшим такую же попытку, и оба интересующихся лица остались друг перед другом на своих лестницах. Самое удивительное заключалось в том, что весь тот вечер они так и простояли на верхушках лестниц: они так и не спустились вниз; и действительно, все то время, что последовало за их первой встречей, у Кейт оставалось это чувство – что она стоит где-то на высокой перекладине и сойти ей некуда. Более простое описание всей истории несомненно сведется лишь к констатации того, что наши молодые герои восприняли друг друга с интересом; и если бы не счастливая случайность полугодом позже, повествование об этом эпизоде тут бы и закончилось. Случайность эта, надо сказать, произошла так естественно, как происходит в Лондоне очень многое: Кейт оказалась напротив мистера Деншера в вагоне лондонской Подземной железной дороги. Она села в поезд на «Слоун-Сквер», чтобы поехать до «Куинз-роуд», и купе, куда она вошла, было почти полно. Деншер был уже там – на другой скамье, в дальнем углу; Кейт совершенно уверилась, что это он, прежде чем поезд тронулся снова. День стоял пасмурный, был час наступления темноты, в купе находилось еще шестеро пассажиров, однако ее сознание устремилось прямо к нему, будто они встретились на каком-то открытом, ярко освещенном пространстве земли, где-то в безлюдной пустыне. Ни тот, ни другая не колебались ни секунды, они глядели друг на друга через набитое людьми купе так, будто она заранее знала, что найдет его там, а он ожидал, что она туда войдет; так что, хотя в сложившихся условиях они могли все же обменяться приветственными жестами и улыбками, им приходилось держать себя в узде. Было бы вполне уместно, в результате немого обмена любезностями, если бы они, чтобы облегчить ситуацию, сошли вместе на следующей остановке. Кейт, по правде говоря, была уверена, что следующая остановка и есть истинная цель Деншера – а это делало совершенно ясным, что молодой человек едет дальше именно потому, что желает поговорить с ней. Ради этой цели ему надо было ехать до станции «Хай-стрит-Кенсингтон», поскольку лишь тогда кто-то из пассажиров вышел бы, предоставив ему желаемый шанс.

А шанс его ни мало ни много позволил Деншеру быстро занять место прямо напротив Кейт: проворство, с которым он осуществил этот захват, казалось, говорило ей о нетерпении, с которым он не мог совладать. Тем не менее в присутствии чужих людей, сидящих по обе стороны от них, его маневр мало способствовал разговору; впрочем, вероятно, это ограничение возымело для них такое значение, какого не могло бы иметь ничто другое. Если тот факт, что счастливый случай, снова сведший их вместе, мог найти столь яркое выражение без единого слова, они оба могли тотчас же почувствовать, что он свел их не напрасно. Необычайной стороной этой истории оказывается то, что они встретились вовсе не на том, на чем расстались, а продвинувшись значительно дальше, и к этим добавившимся связующим звеньям, между станциями «Хай-стрит» и «Ноттинг-Хилл-Гейт», добавилось еще одно, а между последней упомянутой и «Куинз-роуд» количество прибавившихся звеньев стало

неизмеримым. На станции «Ноттинг-Хилл-Гейт» сошел сосед, сидевший по правую руку от Кейт, и Деншер немедленно перескочил на его место, только и тут они мало что выиграли, так как в следующий же момент какая-то дама перескочила на место Деншера. Он почти ничего не мог сказать, – по крайней мере, Кейт едва понимала, что он говорит: она была поглощена неодолимым ощущением, что один из пассажиров напротив, с моноклем в глазу, который он постоянно держал в одной и той же позиции, с самого начала выделил ее из всех остальных, весьма заметно и к тому же со странной аффектацией. Если подобная личность выделила ее из остальных, что же делает Деншер? – этот вопрос, надо сказать, получил вполне убедительный ответ, когда на ее остановке Деншер тут же вышел следом за ней из вагона. Вот это-то и стало настоящим началом – началом всего: тот, первый раз – время, проведенное на званом вечере, было лишь началом *этого* начала. Никогда прежде, за всю свою жизнь, не позволяла себе Кейт так увлечься – насколько вообще небольшие романтические приключения могли быть в ее характере: ведь раньше, по вульгарной мерке, таких возможностей всегда было хоть пруд пруди. Деншер прошел с ней до Ланкастер-Гейт, а потом Кейт пошла с ним обратно к станции Подземной железной дороги. (Ох ты, ну прямо как горничная, хихикающая с булочником, мысленно говорила она себе.)

Такое уподобление, как она ощущала это впоследствии, вполне соответствовало отношениям, которые точнее и лучше всего могут быть описаны через сравнение с горничной и булочником. Кейт могла говорить себе, что с того самого часа они постоянно «водят компанию»: формально говоря, это прекрасно выражало и размах, и пределы их связи. Деншер, естественно, тут же попросил разрешения посещать ее, и она, как юная особа, которая не так уж юна и не претендует на то, чтобы выглядеть оранжерейным бутоном, столь же благоразумно такое разрешение дала. Такова теперь – это ей сразу же стало ясно – должна быть ее единственно возможная позиция: она всего-навсего современная лондонская женщина, несомненно – человек нового времени, неизбежно уже столкнувшаяся с жизнью, благородно свободная. Кейт, разумеется, незамедлительно доверила свою тайну тетушке, то есть прошла через все установленные этикетом формы, попросив у нее разрешения принимать Деншера; впоследствии она вспоминала, что, хотя она изложила историю своего нового знакомства так скупно, как позволяли сами факты, миссис Лоудер поразила ее в тот момент своей необычайной мягкостью. Этот случай послужил ей четким напоминанием, что тетушка ее вовсе не так проста: именно тогда Кейт начала задавать самой себе вопрос: да что же такое, вульгарно выражаясь, «затекает» тетушка Мод?

«Ты, моя дорогая, можешь принимать всех, кто тебе нравится» – таков был ответ тетушки Мод, которая, вообще-то, всегда возражала против того, чтобы люди поступали, как им нравится, и в этой неожиданности требовалось тщательно разобраться. Объяснений было много, и все они казались забавными – забавными, так сказать, в духе мрачном и тревожном, что был характерен для Кейт в ее теперешнем высоком убежище. Мертон Деншер явился с визитом в следующее же воскресенье, однако миссис Лоудер оставалась столь последовательно великодушной, что дала племяннице возможность встретиться с ним наедине. Тем не менее она увиделась с ним воскресеньем позже, чтобы пригласить его на обед; и когда, после этого обеда, он приходил еще трижды, тетушка нашла способ относиться к его посещениям как к визитам преимущественно к ней самой. Кейт, уверенная, что тетушке Деншер не нравится, сочла это совершенно замечательным, что явилось дополнением к доказательством, к этому времени весьма многочисленным, что тетушка Мод просто исключительна по своей замечательности во всех отношениях. Будь она, при своей энергичности, просто обыкновенной женщиной, она не стала бы скрывать своей неприязни; она же повела себя так, будто хотела узнать его получше, чтобы получше разобраться, на чем его «подловить». Таково было одно из заключений нашей юной леди, сделанное ею в ее высоком убежище; она улыбалась со своего наблюдательного пункта в молчании, какое могло быть только резуль-

татом того, что слышала она лишь не имеющие смысла звуки, и думала о том, как поистине легко целиком принять человека, если так хочется, чтобы его отдали тебе в руки целым и невредимым. Если тетушка Мод желала быстро разделаться с кем-то, она не поручала это другим лицам, это совершенно четко и неизменно должно было оставаться делом ее рук.

Однако более всего Кейт поражало, какое множество дипломатических приемов использовала тетушка Мод в отношении собственной племянницы. В свете такой ее манеры как же следовало судить об этом? Неужели она опасалась огорчить свою собеседницу? Похоже, что Деншера принимали из опасения, что, не будь он принят, она – Кейт – примется действовать назло. Не рассматривала ли тетушка и такую опасность, как разрыв с нею племянницы, ее уход из дома? Но опасения преувеличенны – она не совершила бы ничего столь непристойного, однако именно таково, как видно, было мнение о ней миссис Лоудер: она так ее видела, верила, что Кейт такова и есть и с ней нужно считаться. Какое же значение, какую важность тетушка на самом деле ей придавала, какой непонятный интерес могла она усматривать в том, чтобы сохранять с племянницей отношения? У отца и у сестры Кейт имелся ответ на этот вопрос, хотя они даже не знали, как он интересовал саму Кейт: они считали, что хозяйка дома на Ланкастер-Гейт просто одержима желанием устроить счастье своей племянницы, а объяснение столь неожиданно проснувшейся жажде было всего лишь, что поскольку раньше тетушка смотрела на все их семейство иначе (что гораздо ближе к реальности), то теперь она оказалась просто зачарована, ослеплена. Они одобряли, более того – восхищались в ней одной из запоздалых причуд, свойственных богатым, капризным, неистовым старым женщинам, – причуде тем более знаменательной, что она не являлась плодом никакого заговора, и отец с сестрой, хотя и порознь, все наращивали груды предполагаемых плодов для означенной персоны. Кейт же прекрасно сознавала, что следует думать о ее собственной способности вот так, неожиданно, ослеплять и зачаровывать: она считала себя несомненно красивой, но столь же и твердой, она чувствовала, что умна, но столь же и холодна и, при этой самооценке, настолько необоснованно амбициозна, что, как ни жаль, сама не могла решить, что мешает ей согласиться на тихую, ничем не примечательную жизнь – тонкое понимание или глупое безразличие. Разум ее порой заставлял ее притихнуть – она становилась слишком тихой, – однако ее нужда в нем не утихала, оставаясь слишком беспокойной: так что, как полагала Кейт, ничего хорошего ни та, ни другая крайность ей не приносила. Тем не менее в настоящий момент Кейт видела себя в некой ситуации – а ведь даже ее утратившая иллюзии умирающая мать, услышав, как тетушка Мод расспрашивает сиделку на лестничной площадке, не преминула напомнить дочери, что суть всякой ситуации в том, что ее надлежит – будь на то промысел Божий – «разрабатывать». Несчастливая женщина умерла в уверенности, что дочь «разрабатывает» ситуацию, тогда признанную реально существующей.

Кейт отправилась на одну из прогулок с мистером Деншером сразу после своего визита к отцу, однако большая часть встречи ушла, как обычно, на их беседу под деревьями. Сидя под деревьями у озера, они походили на давних друзей, обмениваясь характерными, полными серьезного смысла фразами, с помощью которых они могли бы, очевидно, решить любую проблему их безбрежного молодого мира; а периоды молчания, когда они сидели вот так, бок о бок, вероятно, еще более усиливали это сходство, когда вывод: «Долгая помолвка!» – составил бы категорическое прочтение их поведения прохожими, которым очень легко было бы такой вывод сделать. Они так и ощущали себя – как очень давние друзья, а не как молодые люди, первая встреча которых произошла едва год тому назад. И правда, каждый из них ощущал эти дружеские отношения так, как если бы они были гораздо более давними; и хотя порядок следования их встреч, скорее всего, был между ними уже установлен, у них обоих осталось смутное впечатление, что встреч, похожих друг на друга, было много, а также смутная надежда, что далее их будет еще больше и к тому же, возможно,

еще менее отличающихся от всех предыдущих. Желание сохранить их именно такими, как они сложились, ничего в них не меняя, вероятно, объясняется тем, что, вопреки предполагаемому диагнозу неизвестного прохожего, они еще не достигли формальной, окончательной договоренности. Деншер с самого начала настаивал на решении этого вопроса, однако ответ напрашивался сам собой: сейчас еще слишком рано; после этого произошло нечто поразительное. Они согласились с идеей, что их знакомство длится слишком недолго для помолвки, но сочли, что этого срока достаточно практически для чего угодно, так что брак вроде бы ждал их впереди, подобно храму, к которому пока еще не ведет дорога. Они принадлежали к этому храму, они встречались на его земле, они пребывали в той стадии, когда сама эта земля питала их – то там, то сям – многими своими плодами. Между тем Кейт почти ни с кем не делилась своими тайнами и не знала, что и думать об источнике, из которого черпал свои подозрения ее отец. Распространение слухов в Лондоне, разумеется, всегда было явлением весьма примечательным – и для Мэриан не менее, чем для мистера Кроя, это загадочное явление тоже сработало, хотя тетушка Мод ни к той, ни к другому прямого отношения не имела. Нет сомнений, что Кейт видели. Конечно же видели. Она вовсе и не заботилась о том, чтобы ее не видели, да и никак не могла бы заботиться. Ее видели, но как? – да и *что* там было видеть? Кейт полюбила – и понимала, что это так, но ведь это ее сугубо личное дело, и у нее создалось ощущение, что она все время вела себя соответственно принятым правилам, а сейчас продолжает прямо-таки страстно соблюдать приличия.

– У меня такое впечатление – фактически я просто уверена, – что тетушка Мод намерена тебе написать; и по-моему, тебе лучше заранее знать об этом, – сообщила Кейт Деншеру, как только они увиделись, но тут же добавила: – А чтобы ты понял, как к ней отнестись, я скажу еще, что хорошо знаю, о чем она тебе напишет.

– Тогда не будешь ли любезна сказать мне – о чем?

Кейт на миг задумалась.

– Не могу – боюсь все испортить. Она сама гораздо лучше выразит свою мысль.

– Ты имеешь в виду ту ее мысль, что я, вообще-то, негодяй или в лучшем случае недостаточно хорош для тебя?

Они опять сидели бок о бок на садовых стульях по пенни за штуку, и Кейт опять недолго помолчала.

– Недостаточно хорош – для *нее*.

– А-а, понятно. А это необходимо.

Он произнес это скорее как утверждение, чем как вопрос, но в их беседах бывало множество утверждений, которые каждый мог опровергнуть. Кейт, однако, спокойно пропустила его мимо ушей, через минуту лишь заметив:

– Она вела себя поразительно.

– Так ведь и мы тоже! – заявил Деншер. – Думаю, ты сама понимаешь, что мы вели себя до ужаса прилично.

– Для самих себя, друг для друга, для всех других людей вообще – да, конечно. Только не для *нее*. Для *нее*, – сказала Кейт, – мы вели себя чудовищно. Она же с умыслом предоставила нам свободу действий. Так что, если она пошлет за тобой, тебе следует знать, что делать.

– Это-то я знаю – всегда. Меня больше беспокоит, знаешь ли ты, что делать.

– Ну, – промолвила Кейт после довольно долгой паузы, – ее представление о том, что делать, ты получишь от *нее* самой.

Деншер очень долго смотрел на нее после ее слов, и чего бы иного ни желали для ее благополучия те, что никак не хотели оставить ее в покое, именно его долгих взглядов ей всегда хотелось побольше. Она чувствовала – что бы ни случилось, ей необходимо удержать эти взгляды, завладеть ими до конца, чтобы они стали ее собственностью, и, удивительным

образом, она пришла к выводу или, во всяком случае, поступала так, будто способна впитать их в себя вместе с чем-то другим, ей не принадлежащим, и втайне хранить их и лелеять, но – тем не менее – при всей неукоснительности этого желания никак за свое приобретение не расплачиваться. Она не кривила душой перед собою, она всем своим существом восприняла, что они с Деншером – счастливые влюбленные, радовалась наедине с собой и, откровенно говоря, вместе с Деншером, что они носят это звание; однако, поскольку Кейт была существом по-своему необычным, ее взгляд на такой их статус вряд ли совпадал с общепринятым. Она настойчиво утверждала, что их статус – их право, и принимала это как нечто само собою разумеющееся настолько, что ее утверждения даже не казались слишком дерзкими; однако Деншер, хотя и соглашался с ней, обнаружил, что его поражают ее упрощения, ее критерии. Жизнь вполне могла оказаться полной трудностей – было очевидно, что так и случится, но они, во всяком случае, есть друг у друга, и это самое главное. Так рассуждала Кейт, но, с точки зрения Деншера, нельзя было сказать, что они есть друг у друга: их друг у друга *нет*, в том-то и загвоздка. Однако загвоздка часто возникала еще и потому, что, сталкиваясь с необычными, особенными чертами нашей юной леди, он считал неудобным, даже грубым настаивать, твердить одно и то же. Не было никакой возможности не включать миссис Лоудер в их план. Она стояла к нему слишком близко и слишком неустранимо: план неминуемо должен был, хотелось им этого или нет, открыть ей вход в определенном месте в определенное время, чтобы они смогли ее впустить. И она неминуемо входила, пока они сидели так, бок о бок, беспомощно взирая на нее, словно она в карете четверкой кружила близ их надежд на будущее, подобно ведущей актрисе цирка, объезжающей арену по кругу, и останавливалась посреди пути, чтобы величественно выйти из кареты. У нашего молодого человека создалось стойкое ощущение, что тетушка Мод величественно вульгарна, и тем не менее этим исчерпывалось далеко не все. Ведь вовсе не вульгарность дала ей почувствовать, что ему не хватает средств, хотя это могло бы помочь ей богато расшить такой его недостаток; и вовсе не благодаря этой ее слабости она была так сильна... оригинальна... опасна.

Нехватка средств у Деншера – средств, достаточных для любого, только не для него, – это, действительно, ужасная мерзость, и она никогда не могла бы быть ужаснее, чем в то самое время, когда вдруг поднялась, как казалось, во весь рост и совершенно бесстыдно встретила лицом к лицу со стихиями, игравшими жизнью Кейт, теми, что наши счастливые влюбленные нелитературно и вполне подходяще называли «чудными» – с ударением на «ы». Кстати говоря, Деншер и правда порой спрашивал себя, да не являются ли упомянутые стихии такими же чудными, как его глубоко запрятанное и такое очевидное ему самому осознание собственной неспособности поверить, что он когда-нибудь сможет стать богатым? Его убежденность в этой своей неспособности, по правде говоря, была вполне определенной, она была как бы вещью в себе: после некоторого анализа Деншер так и не смог в ней разобраться, хотя – естественно – у него имелось гораздо больше возможностей для этого, чем у кого-либо другого. Он понимал, что она существует вопреки столь же определенной убежденности в том, что он не беспомощен ни психологически, ни физически и не является ни тупицей, ни калекой; он понимал, что эта его неспособность – вещь абсолютная, хотя и тайная, но одновременно, как ни странно, в том, что касается обычных дел, вовсе не обескураживающая, ничему не препятствующая. Только теперь стал он задаваться вопросом, не препятствует ли она его браку, только теперь, впервые, он принялся взвешивать свой случай как бы на весах. Весы, когда он сидел бок о бок с Кейт, часто покачивались в поле его зрения: пока он говорил или слушал, он мог видеть, как они – большие и черные – занимают своеобразные позиции в прозрачном воздухе. Иногда опускалась правая чаша, иногда – левая, на них никогда не устанавливалось счастливого равновесия: каждый раз то одна, то другая чаша оказывалась легче. Так перед Деншером всегда вставал вопрос, что постыднее: просить женщину попытаться с тобой счастья или дать ей услышать от тебя признание, что ее

счастье с тобой, в лучшем случае сведется к той или иной степени лишений; или же, иначе говоря, женитьба по расчету, ради денег, может в конечном счете оказаться менее постыдной, чем боязнь жениться по любви, но без оных? Продумывая все эти варианты, переживая смену настроений и точек зрения, он тем не менее всегда помнил, что печать у него на лбу выступает четко и ясно: он понимал, что останется без денег, женится он в конце концов или не женится. Это была та колея, где воображение Деншера работало с восхитительной активностью, бесчисленные способы разбогатеть, «делать деньги» красиво высвечивались перед ним; он мог бы использовать их для своей газеты с такой же легкостью, с какой делал все остальное. Он прекрасно сознавал, как делает все остальное, – это была еще одна печать у него на лбу: парочка расплывшихся пятен от пальца Фортуны, два клейма на праздном руне, поставленные в самом начале и составившие компанию друг другу. Деншер писал, как для печати, с достойной сожаления легкостью, поскольку не было ничего, что могло бы его остановить, даже в десятилетнем возрасте; точно так же было и в двадцатилетнем; здесь в первую очередь сыграла свою роль его судьба, а во вторую – наша жалкая публика. Во всяком случае, бесчисленные способы разбогатеть были, несомненно, темой его размышлений, когда он сидел, наклонив стул на задние ножки, откидывал назад голову, сплетая пальцы на затылке, и давал волю воображению. Однако дольше всего в этом состоянии его задерживало то соображение, что все эти способы оказывались способами лишь для других, не для него. А через минуту – как бы то ни случилось – ему стало известно более близкое к реальности мнение, чем то, что он сам едва успел полностью сформулировать, – мнение его спутницы об их обстоятельствах, которое несколько не упрощало их отношений. Главное – он увидел, как она сама видит эти обстоятельства, потому что она заговорила о них с предельной откровенностью, рассказав ему о своем визите к отцу и описав последовавшую за тем сцену у сестры, привела пример того, как ей время от времени приходится так или иначе латать надежды этой несчастной женщины.

– Это гармония, – воскликнула Кейт, – с которой мы как семья не совладали!

За этим Деншеру снова пришлось выслушать от нее всё, и на этот раз, как ему показалось, даже больше, чем всё: бесчестье, навлеченное на них отцом, его безрассудство и жестокость и злобность; раненое сознание ее матери, покинутой, обобранной и беспомощной и при всем том ужасно неразумно ведущей оставшийся им дом; гибель двух ее юных братьев – одному было девятнадцать, он был старшим из детей и умер от тифозной лихорадки, заразившись ею, как они потом выяснили, в отвратительном домишке, который семья сняла на лето; другой – краса семьи – гардемарин на «Британии», утонул ужасно, даже не из-за крушения на море, а из-за судороги; его не смогли спасти, он купался слишком поздней осенью в злосчастной маленькой речушке, когда во время отпуска поехал к сослуживцу. Затем – чудовищный брак Мэриан, сам по себе напоминающий что-то вроде другой щеки, равнодушно подставленной Фортуне; ее реальная бедность и невзгоды, ее постоянные жалобы, чумазные дети, ее невероятные требования, ее отвратительные гости – в дополнение ко всему остальному это убедительно доказывало, как тяжело на всех них лежала рука судьбы. Кейт, не скрываясь, описывала семью сестры излишне нетерпимо; для Деншера в этой ее манере крылась значительная доля ее очарования: она вообще стремилась придать своим описаниям именно такой характер, отчасти как бы пытаясь позабавить его свободной и юмористической окраской, а отчасти – вот тут-то и крылось наибольшее очарование – как бы стремясь, для собственного облегчения, сбросить груз неизбывного ощущения несообразности бытия. Кейт увидела генеральный спектакль слишком рано и слишком ярко и оказалась настолько умна, что поняла его и приняла эту беду во внимание; поэтому, когда она бывала резка и почти неженственна, становилось похоже, что они вроде бы окончательно согласились, ради общения, перейти кратчайшим путем на фантастический и радостный язык преувеличений. С самого начала случилось так, что обоим стало ясно: если иного прямого пути у них нет,

им, во всяком случае, открыто пространство мысли. Они могли думать о чем угодно и как угодно, иначе говоря, они могли высказывать это открыто. Возможность высказывать это друг другу, и только друг другу – наедине, разумеется, добавляла вкуса происходящему. И соответственно, постоянно подразумевалось, что высказанное ими не наедине вкуса для них вовсе не имеет; и ничто не могло бы более успешно вызвать у них энтузиазм в их особые часы, на их плавучем острове, чем предположение, что в другой обстановке они всего лишь притворяются. Следует добавить, что наш молодой человек прекрасно сознавал, что это оригинальное обыгрывание факта их близости более всего выгодно Кейт. Его всегда поражало, что у нее гораздо больше, чем у него, жизни, из которой она черпает свои реакции, и когда она подробно излагала ему историю горьких несчастий своего дома, а он заметил странно жесткие ноты в ее теперешней экзальтации – поскольку это явно следовало счесть экзальтацией, – он почувствовал, что серенькие анналы его собственной домашней жизни не смогут быть столь эффектны. Что же касается рассказа Кейт, то естественно, что более всего Деншера заинтересовал образ ее отца, но картина ее приключения на Чёрк-стрит вызвала у него ощущение, что этот образ слишком мало ему понятен. Что же такое, попросту говоря, совершил когда-то мистер Крой?

– А я не знаю, да и не желаю знать. Знаю только, что много лет назад – мне тогда было лет пятнадцать – что-то такое случилось, что сделало его неприемлемым. Неприемлемым для общества в целом – вот что я имею в виду прежде всего, а затем, мало-помалу, и для мамы. Мы, конечно, в то время ничего про это не знали, – объяснила Кейт, – узнали позже, и, странно сказать, это моя сестра первой узнала, что отец что-то такое сделал. Я даже сейчас ее слышу – как она говорит; было холодное, темное воскресенье, мы не пошли в церковь из-за необыкновенно густого тумана, и она сообщила мне об этом у школьного камина. Я читала учебник по истории при свете лампы – когда мы не ходили в церковь, мы должны были читать учебники по истории, – и я неожиданно услышала, как она говорит из тумана, заполнившего комнату, и ни с того ни с сего: «Папа сделал что-то дурное». И самое любопытное было то, что я тут же ей поверила, раз и навсегда, хотя она ничего больше не могла мне сказать – ни в чем заключалось это дурное, ни как она про это узнала, ни что теперь с ним будет, ни что бы то ни было еще обо всем этом. У нас всегда было ощущение, что с папой *случались* самые разные вещи, они случаются с ним все время; так что, когда Мэриан сказала только, что она уверена, ужасно уверена, и что она догадалась об этом сама, и что этого достаточно, я восприняла ее слова как что-то само собою разумеющееся – ведь это казалось таким естественным. Мы не должны были задавать об этом вопросы маме – что делало все еще более естественным, и я никогда не промолвила о случившемся ни слова. Однако мама, как ни странно, сама заговорила со мной об этом. Она, вероятно, опасалась или была как-то убеждена, что у меня есть представление о произошедшем, и у нее возникло собственное представление, что лучше будет со мной поговорить. Она заговорила со мной так же неожиданно, как это сделала Мэриан. «Если тебе придется услышать, как кто-то говорит что-нибудь дурное о твоём отце, что угодно, хочу я сказать, кроме того, что он человек неприятный и низкий, пожалуйста, помни – это ложь». Вот так я узнала, что это – правда, хотя хорошо помню, как ответила ей тогда, что, разумеется, знаю – это неправда. Мама могла бы сказать мне, что это правда, и тем не менее быть уверена, что все равно я стану яростно опровергать любое услышанное мной обвинение в адрес отца – опровергать еще более яростно и эффективно. Однако, – продолжала Кейт, – получилось так, что у меня не было случая это сделать, и я воспринимаю это с некоторым удивлением. В результате стало казаться, что наше общество порой бывает вполне приличным. Никто ничего подобного в мою сторону даже не выдохнул. Это стало частью молчания – молчания, которое окружило его, молчания, которое смыло его прочь. Отец перестал для людей существовать. И все же я по-прежнему уверена, что все – правда. Фактически, хотя я знаю не более того,

что знала тогда, я более уверена. И вот, – завершила она рассказ, – я сижу здесь и говорю такое о своем родном отце. И если это не есть доказательство доверия, я не знаю, что еще может тебя удовлетворить.

– Это меня замечательно удовлетворяет, – ответил ей Деншер, – однако, милая моя девочка, вовсе не делает меня более осведомленным. Ты же сама понимаешь, что на самом деле ничего мне не сказала. Все так неясно, что же мне остается думать? – только что ты вполне можешь ошибаться. Какое же зло он совершил, если никто не может это назвать?

– Он совершил всё.

– Ах, всё! Всё – значит ничего.

– Ну ладно, – сказала Кейт. – Он совершил какой-то особенный проступок. Это известно. Только, слава богу, не нам. Но для него самого это стало концом. Ты, несомненно, можешь сам выяснить, что это было, без особого труда. Можешь поспрашивать разных людей.

Деншер с минуту молчал, но в следующее мгновение принял решение:

– Ни за что на свете я не стану ничего выяснять и скорее онемею, чем стану задавать людям вопросы.

– И все-таки это ведь часть меня, – возразила Кейт.

– Часть тебя?

– Бесчестье моего отца. – В ее словах для него прозвучали, еще более глубоко, чем когда бы то ни было, ноты ее гордого, спокойного пессимизма. – Как может такая вещь не стать более чем значительной в жизни человека?

Кейт пришлось снова, в ответ на это, принять от него один из его долгих взглядов, и она приняла его весь – до самых глубоких, самых пьянящих последних капель.

– Я попрошу тебя в этой, более чем значительной, вещи в твоей жизни, – сказал он, – чуть больше полагаться на меня. – После чего, уже просто обсуждая, спросил: – Он состоит в каком-нибудь клубе?

– Состоял. Во многих.

– Но бросил их?

– Они *его* бросили. В этом я совершенно уверена. Это должно бы тебя убедить. А я предложила ему, – тотчас же продолжила Кейт, – именно для этого я к нему и поехала – приехать к нему, жить с ним вместе, чтобы у него был домашний очаг, насколько это возможно. Но он и слышать об этом не желает.

Деншер воспринял это с весьма заметным, но великодушным изумлением.

– Ты предложила ему – «неприемлемому», как ты только что мне его описала, – жить с ним вместе и разделять с ним его неблагоприятное положение? – На миг наш молодой человек увидел в этом лишь высокую красоту ее поступка. – Ты великолепна!

– Потому что тебя поражает, что я храбра ради него? – Кейт ни в коей мере не желала с этим согласиться. – Это вовсе не храбрость – это ее противоположность. Я сделала это, чтобы спасти себя. Чтобы сбежать.

У него появилось столь частое на этой стадии их отношений выражение, будто она дает ему более тонкие материи для обдумывания, чем кто бы то ни было другой.

– Сбежать – от чего?

– От всего.

– Не хочешь ли ты, по этому случаю, и от меня сбежать?

– Нет. Я говорила с ним о тебе, пообещала ему – не буквально, но смысл был такой, – что приду к нему с тобой, если он позволит.

– Но он не позволил, – сказал Деншер.

– Не пожелал и слышать об этом, ни на каких условиях. Он не хочет помочь мне, не хочет спасти, не хочет даже палец протянуть мне в поддержку. – И Кейт продолжала: – Он просто вывертывается в своей неподражаемой манере и отбрасывает меня назад.

– Тогда – назад, и слава Небесам, – согласился Деншер, – ведь, в конце концов, это значит – ко мне.

Однако она заговорила снова, словно единственное, что занимало ее мысли, была – вся целиком – сцена, которую она сейчас вызвала в памяти.

– Такая жалость! Он бы тебе понравился. Он чудесный – он обаятельный. – Ее собеседник издал смешок, который, не в первый уже раз, показал, как укоренилось в нем чувство, что в ее тоне кроется нечто, превращающее для него беседы с другими женщинами, насколько он знал других женщин, в монотонную пустыню обыденности, а Кейт уже продолжала: – Он сделал бы все, чтобы ты стал им восхищаться.

– Даже несмотря на его возражения против меня?

– Ну, он же любит быть приятным, – объяснила она, – сам, лично. Я видела, как он становится просто замечательным. Он бы высоко тебя оценил, он был бы с тобой умен. Это ведь он против *меня* возражает – то есть против того, что ты мне нравишься.

– Тогда опять-таки хвала Небесам, – воскликнул Деншер, – раз я нравлюсь тебе настолько, что это вызывает возражения!

Однако Кейт через секунду ответила на это несколько непоследовательно:

– Не настолько. Я предложила бросить тебя, если это необходимо, чтобы переехать к нему. Но это ничего не изменило – вот что я имела в виду, сказав, что он отвергает меня при всех условиях. Смысл, видишь ли, в том, что я не сбегу.

– Но ты ведь не хотела сбежать *от меня*? – изумился Деншер.

– Я хотела сбежать от тетушки Мод. Однако отец настаивает, что именно благодаря тетушке Мод, и только ей одной, я смогу помочь ему; точно так же как Мэриан настаивает, что лишь благодаря тетушке, и только тетушке, я смогу помочь ей. Вот что я имею в виду, – снова объяснила она, – говоря, что они возвращают меня назад.

Молодой человек задумался.

– Твоя сестра тоже возвращает тебя назад?

– Ох, прямо толкает!

– А сестре ты предлагала жить вместе с ней?

– Предложила бы не задумываясь, если бы она этого хотела. В этом ведь вся моя добродетель – узенькое, маленькое семейное чувство. Во мне живет маленькое, глупое благочестие или почтительность к родным – не знаю, как это назвать. – Кейт храбро держалась этой темы, это была ее собственная идея. – Порой, когда я одна, мне приходится подавлять рыдания, если задумываюсь о моей бедной матери. Она прошла через такое... что просто свело ее в могилу. Я знаю теперь, что это было... А тогда не знала, потому что просто была свиньей, и мое положение, в сравнении с ее, оказывается оскорбительно успешным. Вот что постоянно бросает мне в лицо Мэриан, вот что делает и сам папа в этой его, как я уже говорила, неподражаемой манере. Мое теперешнее положение – ценность, величайшая ценность для них обоих. – Кейт все продолжала и продолжала. Яркая и ироничная, она не знала милосердной середины. – Это – *их* ценность, единственная, которая у них имеется.

У нашей молодой пары сегодня все двинулось вперед, несмотря на их паузы, на поставленный себе предел; двинулось более скорым ходом: скорость и возбуждение сыграли роль молнии в сырой духоте. Деншер наблюдал за Кейт с решимостью, какой никогда не знал прежде.

– И этот факт, о котором ты говоришь, тебя удерживает?

– Конечно удерживает. Он вечным отзвуком отдается в моих ушах. Он вынуждает меня задавать себе вопрос, имею ли я право на личное счастье, вообще какое-либо право, кроме

того, чтобы быть такой богатой и изобильной, такой энергичной и блестящей, какой только меня смогут сделать.

Деншер помолчал.

– О, если повезет, то у тебя может быть и личное счастье.

Немедленным ответом ему служило ее молчание, подобное его собственному, после чего она выдохнула ему прямо в лицо, очень просто и очень быстро:

– Дорогой!

Ему потребовалась еще минута молчания; потом так же спокойно и просто последовало:

– А не хочешь ли ты решить это сразу, выйдя за меня замуж завтра же? – мы ведь можем с легкостью заключить брак, в соответствии с гражданским правом.

– Давай подождем это устраивать, – сразу откликнулась Кейт, – пока ты с нею не поведешься.

– Так-то ты меня любишь? – тут же потребовал ответа Деншер.

В этот раз они разговаривали, странным образом перемежая обдуманное и непосредственные высказывания, и ничто не могло бы более соответствовать тону этой беседы, чем то, что наконец высказала Кейт:

– Ты сам ее боишься.

Он ответил ей довольно тусклой улыбкой:

– Для молодых людей с выдающимися способностями и высокими устремлениями у нас с тобой слишком большие странности.

– Да. – Кейт сразу же приняла это. – Мы отвратительно разумны. Но и в этом есть что-то интересное. Нам с тобой нужно видеть интересное, забавное всюду, где только возможно. Мне думается, – добавила она, кстати говоря, не без отваги, – что наши отношения просто красивы. В них нет ничего вульгарного. Я стою за сохранение некоторой романтики в жизни.

Ее слова заставили его рассмеяться, и в смехе этом было больше свободы, чем в его улыбке.

– Как же ты должна бояться, что тебе придется меня бросить!

– Да, да! Вот это было бы вульгарно! Но, разумеется, – нехотя согласилась она, – я вижу, что мне грозит опасность совершить что-нибудь низкое.

– Тогда что может быть столь же низким, как решение пожертвовать мною?

– Я *не стану* тобою жертвовать. Не кричи, пока не заболело! Я не стану жертвовать никем и ничем, и в том-то и есть суть моей ситуации, что я хочу и буду пытаться добиться всего. Вот, – заключила она, – как я вижу себя и как – точно так же – я вижу тебя, действующими ради этой цели. И ради них.

– И ради них? – спросил Деншер с особо подчеркнутой холодностью. – Благодарю покорно!

– Разве они тебя не заботят?

– Да с какой это стати? Что они мне, как не серьезная помеха?

Едва успев позволить себе подобную характеристику столь неправомерно почитаемых ею невезучих персон, он раскаялся в своей грубости – отчасти потому, что ожидал вспышки со стороны Кейт. Но одной из ее самых лучших черт было то, что она порой вспыхивала лишь совсем мягким светом.

– Не понимаю, почему не сделать чуть больше, с тем чтобы, избегая глупостей, можно было сделать *все*? Мы ведь можем ее сохранить.

Деншер смотрел на нее широко раскрытыми глазами:

– Ты полагаешь, ее можно заставить выделить нам пенсион?

– Ну, подождем – увидим.

Он задумался.

– Увидим, что можно из нее вытянуть?

С минуту Кейт ничего не говорила.

– В конце концов, я никогда ничего у нее не просила: никогда, в самый разгар наших бедствий, не обращалась к ней за помощью, даже близко к ней не подходила. Она сама обратила на меня внимание, сама взялась за меня, выпустив свои замечательные золоченые когти.

– Ты говоришь о ней так, – заметил Деншер, – будто она – гриф.

– Лучше скажи – орлица, с золочеными когтями и клювом, да еще с мощными крыльями для великих полетов. Если считать ее и вправду созданием воздушным, – скорее можно сказать, что она огромный, сшитый из шелка воздушный шар, – то я никогда по собственной воле в его гондоле не оказывалась. Я – это ее собственный выбор.

Этот этюд – изображение ситуации, сделанное Кейт, – был действительно великолепен по стилю и яркости красок: Деншер молча рассматривал его целую минуту, словно картину большого мастера.

– Что же такое должна она в тебе видеть?

– Чудеса! – И, произнеся это очень громко, Кейт встала и выпрямилась перед Деншером. – Все это. Вот оно – перед тобой.

Да, так оно и было, и, пока она вот так стояла перед ним, он не переставал мужественно смотреть в лицо фактам.

– Так ты хочешь сказать, что я должен сыграть свою роль в том, чтобы каким-то образом ее умиротворить и все уладить?

– Повидайся же с ней, повидайся! – раздраженно повторила Кейт.

– И попресмыкайся перед ней, попресмыкайся?

– Ах, да поступай ты как хочешь!

И она в раздражении зашагала прочь.

II

В этот раз взгляд Деншера следовал за Кейт очень долго, прежде чем сам он ее нагнал, потому что ему хотелось разглядеть гораздо больше в посадке ее головы, в гордости ее поступи – он не знал, как это лучше всего назвать, – чем он видел когда-либо прежде: разглядеть, хотя бы отчасти, то, что видела в ней миссис Лоудер. Он вполне осознанно ежился, представляя себе, что выступает резонансом, противоположным резонансу тетюшки Мод; впрочем, в тот же самый момент, видя перед собой источник вдохновения этой достойной дамы, он был готов согласиться чуть ли не на любую смиренную позицию или на выгодный компромисс, следуя не столь уж строгому приказу своей приятельницы. Он станет действовать так, как пожелает *она*: его собственные желания осыплются легко, как это часто бывало. Он станет помогать Кейт изо всех сил, ибо весь остаток этого дня и весь следующий день ее нестрогий приказ, брошенный через плечо, когда она, уходя, обратила к нему свою красивую спину, казался Деншеру хлопком огромного кнута в прозрачном голубом воздухе – в той стихии, где пребывала миссис Лоудер. Вероятнее всего, пресмыкаться он не станет – на это он как-то не был готов, но он будет терпелив, смешон, разумен, неразумен и, более всего, – предельно дипломатичен. Он поведет себя умно, соберет весь свой ум и как следует его встряхнет (так он сейчас и сделал), как, бывает, сильно встряхивает свои любимые, такие уже старые и потертые часы, чтобы они снова пошли. Дело вовсе не в том, хвала Небесам, что у них двоих недостаточно «факторов» (надо же когда-то использовать «большие» слова из его газеты!), с помощью которых они могли бы пройти это испытание, и было бы вовсе не к чести их звезды, какой бы бледной она ни была, если бы они потерпели поражение и сдались – сдались столь рано, столь незамедлительно. И правда, дело в том, что Деншер вовсе не думал о таком несчастье, как – в наихудшем случае – о необходимости прямо

пожертвовать их возможностями; он вообразил себе – и этого ему было достаточно, – что попытка вразумить миссис Лоудер сведется к доказательству их собственного тщеславия, к демонстрации их самонадеянной глупости. Когда вскоре после этого в огромной гостиной сей достопочтенной дамы – помещения в доме на Ланкастер-Гейт с самого начала поразили Деншера своими чудовищными размерами – он ожидал ее по ее приглашению, доставленному ему телеграммой «с оплаченным ответом», его теория заключалась в том, что они по-прежнему держатся за свою идею, хотя и ощущают, что трудность ее воплощения в жизнь возросла до масштабов этой гостиной.

А гостиная находилась в полном его распоряжении довольно долго: ему показалось, что прошло около четверти часа; и пока тетушка Мод медлила, заставляя его ждать и ждать, его одолевали воспоминания и размышления, и Деншер задавал себе вопрос, чего же следует ждать от человека, способного повести себя с другим таким вот образом? И сам визит, и его время были предложены ею самой, так что ее промедление, несомненно, было частью общего плана – создать для него неудобство. Тем не менее, пока он ходил взад и вперед по гостиной, воспринимая то, что говорила ему массивная, с обивкой в цветах мебель этой комнаты – великолепное выражение знаков и символов миссис Лоудер, у него практически не было сомнений по поводу неудобства, которое он готов был испытать. Он даже обнаружил, что с легкостью принимает мысль о том, что ему некуда отступать, не на что опереться и что это и есть то самое большое унижение ради большого дела, какого только и может пожелать гордый человек. Эта его теория еще не вполне четко оформилась, так что он пока ничего не выказывал – буквально ни малейшей демонстрации, ни малейшего ее признака; однако здесь, вокруг него, казалось, совершается такая явная демонстрация, такие окружили его, почти аномально утверждающие, агрессивно прямые, огромные предметы обстановки: они в мельчайших деталях излагали ему историю хозяйки этого дома.

«Знаешь, в конечном счете она величественно вульгарна», – однажды чуть было не бросил он вскользь, говоря с Кейт о ее тетушке, но в последний миг удержался и хранил это мнение про себя, со всеми кроющимися в нем опасностями. Это было важно, так как имело к ней прямое отношение – соответствовало реальности, и Деншер почему-то чувствовал, что Кейт в один прекрасный день заявит ему то же самое. Это имело к тетушке Мод прямое отношение и в данный момент, и даже более того, хотя, как ни странно, ни в коей мере не делало злополучную женщину ни глупой, ни банальной. Она оставалась вульгарной, сохраняя при этом свежесть и даже некую красоту, ибо была красота – особого рода – в игре ее огромного и дерзкого темперамента. Тетушка Мод, *in fine*, оказывалась самой большой величиной, с какой ему приходилось иметь дело; а сейчас он находился в клетке львицы без своего кнута – точнее говоря, кнута, сплетенного из находчивых ответов. У него имелся лишь один такой ответ – что он любит эту девушку; такой ответ в таком доме будет выглядеть до боли дешево. Кейт не раз говорила ему, что тетушка ее – человек Страстный, как бы компенсируя свою критику, произнося это слово как бы с большой буквы и подчеркивая тем самым, что он мог бы – а фактически просто должен – обратить это ее качество им на пользу; однако ситуация усложнялась тем больше, чем дольше Деншеру приходилось ждать. Ему решительно чего-то не хватало.

Его медленные шаги взад и вперед по гостиной, казалось, предоставляли ему необходимое измерение: пока он вот так мерил шагами ее пространство, оно превращалось в пустыню – пустыню его бедности, а при взгляде на пространство этой пустыни ему, как и прежде, трудно было убедить даже самого себя, что такая пустыня преодолима. Дом на Ланкастер-Гейт был явно очень богат, и таким оказалось его воздействие, что немислимо было даже представить себе, что он, Деншер, какого бы положения он ни добился, когда-либо сможет иметь нечто, хотя бы отдаленно похожее. Он теперь прочитывал более наглядно, более критично, как и подразумевалось, то, что видел вокруг, но эта обстановка лишь заставляла

его изумляться собственной эстетической реакции. Он раньше не знал – вопреки неоднократным упоминаниям Кейт о возмущениях ее собственного вкуса, – что он будет настолько «против» того, как некая независимая дама умеет обставить и украсить свой дом. С ним говорил сам дом, собственным языком, выкладывая ему как на ладони с поразительной широтой и свободой ассоциации и концепции, идеалы и возможности своей хозяйки. Деншер был уверен, что ему никогда еще не приходилось видеть такого количества предметов столь единодушно уродливых – столь действенно, столь угрожающе жестоких. Он обрадовался, что нашел определение для целостного образа: название «жестокие» вроде бы подходило к сюжету статьи, которую его впечатление просто вложило ему в голову. Он напишет об ужасных, громоздких уродах, которые по-прежнему пользуются успехом, по-прежнему надменно поднимают голову в наш век, так гордящийся тем, что расправляется с ложными кумирами; и как забавно будет, если все, чего он сможет добиться от миссис Лоудер, в конце концов сведется к некоторому количеству экземпляров этой статьи. Однако весьма важным и непонятным оказалось то, что в тот самый момент, как Деншер подумал о фельетоне, который мог быстро написать и опубликовать, он почувствовал, что гораздо труднее не спасовать перед «ужасными громоздкими уродами», чем смеяться над ними. Он не мог описать их – и тут же забыть о них – всех вместе, не был уверен, как назвать их – средне- или ранневикторианскими, не знал, подпадают ли все они под одну рубрику. Очевидно было лишь то, что они великолепны и, более того, что характер у них решительно британский. Они учреждали порядок и изобиловали редкими материалами – драгоценным камнем, деревом, металлом, тканями. Деншеру и не снилось ничего столь бахромчатого и фестончатого, с таким количеством пуговиц и шнуров, повсюду столь плотно обтянутого и повсюду столь туго закрученного. Ему никогда и не снилось такое изобилие атласа и плюша, розового дерева и мрамора и малахита. Но более всего его удручали тяжеловесные формы, излишняя полировка, непомерная цена, общая характеристика моральных качеств и денежных средств, спокойной совести и большого баланса. Все это стало для него зловещим и окончательным свидетельством отрицания его собственного мира – пространства мысли, что, кстати говоря, в присутствии этих вещей он впервые осознал с ощущением безнадежности. «Громоздкие уроды» выявили для него этот факт своей безжалостной непохожестью.

Тем не менее его беседа с тетужкой Мод вовсе не приняла того оборота, какого он ожидал. Хотя она, вне всякого сомнения, была натурой страстной, миссис Лоудер в этот раз не прибегла ни к угрозам, ни к просьбам. Орудия ее агрессивности, оружие ее защиты, скорее всего, находились где-то поблизости, однако она не только не коснулась их, но о них и не упомянула и была так обходительна, что Деншер только потом должным образом понял, как искусно она провела эту беседу. Должным образом он понял и кое-что еще, и это усложнило его задачу: он не знал бы, как это назвать, если бы не назвал это опрометчивым добродушием. Другими словами, обходительность тетужки Мод выглядела не просто политикой: для этого Деншер был недостаточно опасен; она вела себя так потому – он это увидел, – что на самом деле он ей все-таки немножко нравился. С той минуты, как он ей стал нравиться, она сама стала более интересной, и кто знает, что могло бы случиться, если бы она вдруг понравилась ему? Ну что ж, это риск, который ему, естественно, следует встретить лицом к лицу. Она все равно сражалась с ним, но лишь одной рукой и используя лишь несколько крупинок случайно просыпавшегося пороха. Не прошло и десяти минут, как Деншер признал, причем даже без ее объяснений, что, если она и заставила его ждать, ее целью не было ранить его самолюбие: к этому моменту они уже почти нашли общий язык в связи с обозначенным ею намерением. Она хотела, чтобы он сам подумал над тем, что она собиралась ему сказать, но пока еще не сказала, хотела, чтобы он уловил это тут же, на месте, и оправдал ее прозорливые ожидания. Первые вопросы, заданные ею сразу, как только она появилась, практически относились к тому, воспринял ли он ее намек, и такое расспрашивание подразумевало так

много всего, что сделало беседу широкой и откровенной. Деншер понял, по тем вопросам, какие она задавала, что намек был именно тот, который он и воспринял, понял, что миссис Лоудер очень быстро заставила его простить ей демонстрацию ее власти; а еще он понял, что, если он не будет осторожен, ему придется гораздо лучше узнать и тетюшку Мод, и силу ее стремлений, не говоря уж о силе ее воображения или о глубине ее кошелек. Однако он подбодрил себя мыслью о том, что не побоится понять ее: он поймет ее, но поймет так, чтобы не повредить даже малейшему из его чувств и пристрастий. Игра ума выдает человека в лучшем случае и более всего – в действии, в потребности действовать, а тут важнее всего простота. Но когда человек не может это предотвратить, надо доводить дело до конца. На свете не было бы ошибок, если бы ошибки сами, по природе своей, не были интересны. Ему следует прежде всего использовать свой убийственный интеллект в сопротивлении. А миссис Лоудер тем временем может использовать свой, как ей заблагорассудится.

Только после того, как она начала излагать свои мысли о Кейт, Деншер начал, со своей стороны, задумываться над тем, что – при ее манере предлагать свою идею как вполне приемлемую, если только он озаботится ее принять, – не может же она его вовсе не терпеть. Безусловно, в этом и было все дело, она, казалось, пока демонстрирует свою готовность попытаться; совершенно ясно, что, если она по справедливости оценит свое намерение, ей ничего более неприятного делать не придется. «Вы же понимаете, если бы я не была готова пойти гораздо дальше, я не зашла бы так далеко. Меня не интересует, что вы перескажете Кейт, – чем больше вы ей перескажете, тем, вероятно, лучше; и во всяком случае, здесь нет ничего такого, чего бы она уже не знала. Я говорю все это не для нее, я говорю для вас; когда я хочу добиться внимания моей племянницы, я знаю, как это сделать напрямик». Вот так тетюшка Мод выражала себя, как бы с неприятной благожелательностью, простейшими, но самыми недвусмысленными словами; в сущности, она давала понять, что, несомненно, хотя слова умному, вопреки известному изречению, не всегда бывает достаточно, слово доброму всегда достигает цели. Смысл, который наш молодой человек вычитал из ее слов, был таков, что он нравится ей потому, что добр – действительно по ее меркам достаточно добр: то есть достаточно добр, чтобы отказаться ради нее от ее племянницы и спокойно пойти дальше своей дорогой. Но – по его собственным меркам – был ли он достаточно добр для этого? Пока миссис Лоудер более полно выражала свое намерение, Деншер всерьез задался вопросом, не обречен ли он и в самом деле доказывать такую свою доброту?

– Кейт – лучшее из всех известных мне созданий. Вы, разумеется, льстите себя надеждой, что сами это прекрасно знаете. Но я-то знаю это гораздо лучше, чем вы могли бы предположить, – я хочу сказать, намного, намного лучше, чем вы, и мотивы, какими я постараюсь подтвердить вам свою веру в это, перевесят, как мне представляется, все те, что сможете привести вы. Я говорю так вовсе не потому, что Кейт моя племянница, – родство для меня ничего не значит: я могла бы иметь полсотни племянниц и ни одну из них не привела бы в этот дом, если бы эта одна мне не пришлась по вкусу. Не скажу, что не сделала бы для нее ничего другого, но я не потерпела бы ее присутствия в моем доме. А индивидуальность Кейт, по счастью, я заметила давно. Индивидуальность Кейт – к несчастью для вас – это все, чего я могла бы пожелать. Присутствие Кейт – это, как вы понимаете, прекрасно, и я берегу его как утешение моих преклонных лет. Я наблюдала за ней долго, я копила ее качества и давала им, как говорят о вкладах, повышаться в цене; а теперь вы сами можете судить, стали ли они давать прибыль. Теперь я готова согласиться вести переговоры лишь с тем покупателем, кто предложит наивысшую цену. Я могу с ней добиться самого лучшего, и у меня есть собственное представление о самом лучшем.

– О, я совершенно понимаю, – отреагировал на это Деншер, – что ваше представление о самом лучшем никак не подразумевает меня.

Одной из странностей миссис Лоудер было то, что, когда она говорила, ее лицо походило на освещенное в ночи окно, но молчание немедленно задергивало шторы. Возможность ответить, как бы предоставленную ее молчанием, нелегко бывало использовать, но еще труднее было бы прервать ее речь. Во всяком случае, ледяной блеск ее обширной поверхности в этот момент ничем не мог помочь ее гостю.

– Я попросила вас прийти не затем, чтобы услышать о том, чего нет, – я просила вас прийти и услышать то, что есть.

– Разумеется, – рассмеялся Деншер, – это и правда великолепно.

Его хозяйка продолжала так, будто его вклад в беседу вряд ли имел отношение к делу:

– Я хочу увидеть ее высоко-высоко, очень высоко и в ярком свете.

– Ах, вам, естественно, хочется выдать ее замуж за герцога, и вы жаждете стереть с ее пути все возможные сучки и задоринки.

На это миссис Лоудер ответила тем, что продемонстрировала ему эффект задернутой шторы, и он тут же почувствовал – вероятно, справедливо, – что допустил непочтительность, а может быть, и грубость. На него, бывало, смотрели так, в неудачные моменты его самонадеянной юности, важные, холодные мужчины – общественные и государственные деятели, но никогда до сих пор, насколько он мог припомнить, ни одна из дам, не облеченных властью, так на него не смотрела. И более, чем что-либо другое, это показало ему меру искусности его собеседницы, а посему – и возможной карьеры Кейт. «Не будьте слишком невозможным», – боялся он сейчас услышать от своей собеседницы, а затем почувствовал, так как услышал, что она заговорила совсем иначе, что она вроде бы отпускает его слишком легко.

– Я хочу, чтобы она вышла замуж за великого человека. – Это было все, что она сказала, но ему уже было достаточно, и даже слишком. А если бы и не было достаточно, то ее следующие слова довершили дело: – И я думаю о ней так, как я думаю. Вот и все.

После этого они немного посидели, глядя друг на друга, и Деншер чувствовал: что-то более глубокое происходит между ними и она хочет найти в нем понимание, если только он пожелает ее понять. В этом смысле она действительно обращалась к нему с просьбой, обращалась к его интеллекту, желая показать ему, что верит – он способен на понимание. Однако Деншер, разумеется, был не вовсе лишен способности понимания.

– Я, конечно, сознаю, как мало я соответствую какой-либо гордой мечте любящего человека. У вас есть свой взгляд на будущее – он грандиозен, я полностью к нему присоединяюсь. Я прекрасно понимаю, чем я не являюсь, и благодарен вам за то, что вы не напомнили мне об этом более выразительно.

Миссис Лоудер ничего не ответила, продолжала сидеть молча, как бы давая ему возможность говорить дальше – если он окажется на это способен, – тем самым проявляя мало-душие. Создавалась одна из тех ситуаций, когда человек не может выказать себя иначе, как малодушным, если только не хочет выглядеть как упрямый осел. Это была истинная правда: с точки зрения миссис Лоудер, он – единственный, о ком сейчас шла речь, – был весьма малой величиной, и он слишком хорошо знал, что делает величины большими. Ему хотелось быть предельно искренним, но одновременно с этими усилиями в его душу закрался страх. Тетушка Мод явно была его источником, хотя Деншер потом не мог сказать, как она того добилась.

«На самом деле, я думаю, вы не имеете такого большого значения, как полагаете, и я не собираюсь делать из вас мученика, изгоняя вас. Ваши встречи с Кейт в Парке смехотворны, если они имеют целью заставить меня встревожиться, и я, скорее, буду сама принимать вас у себя, потому что вы, мой милый молодой человек, по-своему очаровательны; я стану договариваться с вами, считаться с вами легко и свободно, как мне и подобает. Неужели вы полагаете, что я настолько глупа, чтобы с вами ссориться, если это не станет необходимым? Такого не случится – это было бы слишком абсурдно! – это никогда не станет необходимым. В

любой день я могла бы сорвать на вас зло, каждый день я и в самом деле была к этому готова, но вот я разговариваю с вами, видите? – судите по справедливости – зла на вас не срываю. Я, как всегда, поступаю великодушно: я представляю вашим глазам план, с которым вы, с той минуты, как вас приняли всерьез, *несовместимы*. Подойдите к нему насколько хотите близко, обойдите вокруг – не бойтесь, не бойтесь нанести ему вред – и живите себе дальше, с этим планом перед глазами».

Некоторое время спустя он почувствовал, что она не выразила словами всего до конца, так как сочла, что он во многом с нею согласен. Он был так приятно удивлен тем, что миссис Лоудер не потребовала от него обещаний, не предложила ему заплатить за ее терпимость своим честным словом не мешать ей, что вроде бы дал ей заверения в полном своем уважении к ней. Сразу же после встречи с тетушкой Мод Деншер должен был поговорить обо всем этом с Кейт, и первое, что к этому моменту припомнилось ему, было то, как он сказал ее тетушке (и он тут же упомянул об этом Кейт), подобно тому как один из двух любовников порой говорит другому, прекращая отношения по обоюдному согласию: «Я, конечно, очень надеюсь, что вы всегда будете считать меня своим другом». С этим он, вероятно, зашел слишком далеко, но ведь за его словами крылось так много всего, что рассматривать их следовало, так сказать, исключительно в их собственном свете. Перед окончанием его встречи с тетушкой Мод произошло кое-что еще, кроме того, что мы представили читателю, однако сам факт, что она не сочла Деншера опасностью первого порядка, легко перевесил все остальное. Тем более что во время дальнейшей беседы с нашей молодой героиней ему нужно было обсудить предложение, неожиданно полученное им накануне, о том, что он может заработать себе повышение и сослужить службу своей газете – так, лестно для него, было оно сформулировано, – если отправится на пятнадцать или двадцать недель в Америку. Мысль о серии писем из Соединенных Штатов, написанных исключительно с социальной точки зрения, уже какое-то время вынашивалась во внутреннем святилище, у врат которого сидел Мертон Деншер, и теперь там сочли, что настал счастливый момент выпустить эту мысль на волю. Одним словом, пленница выпорхнула из открытых врат прямо в лицо Деншеру или просто уселась к нему на плечо, заставив его поднять удивленный взгляд от заляпанного чернилами письменного стола. Его отчет Кейт об этом сводился к тому, что он не смог отказаться, его положение в редакции пока не позволяло ему отказываться от чего бы то ни было; но то, что его выбрали для такого задания, нарушало его чувство пропорции. Он определенно не мог понять, как ему следует отнестись к этой неожиданной чести, поразившей его своим двойным смыслом: он не считал себя человеком, вполне пригодным для задания такого класса. Его смущенная совесть – признался он Кейт – сразу же побудила его выдать свои сомнения заведующему, с тем лишь результатом, что ему четко разъяснили причину их выбора. Оказалось, что тот вид газетного пустословия, который был ему так не по нраву, на этот раз им был вовсе не нужен. По странным причинам – причинам настолько привлекательным, насколько он мог бы желать, – им неожиданно понадобились его письма: он должен был не бояться играть свой собственный мотив – в этом и был смысл всей поездки.

То есть в этом был бы весь ее смысл, если бы не добавилось более острое обстоятельство – отправляться ему следовало немедленно. Его «миссия», как это называли в редакции, скорее всего, закончится в июне, это было весьма желательно; но чтобы этого добиться, ему не следует терять ни недели: его расследования, как он понял, должны охватить всю территорию, и тут были государственные резоны – резоны, которыми оперируют в штаб-квартире империи – на Флит-стрит! – так почему бы не начать ковать железо, пока оно горячо? Деншер не стал скрывать от Кейт, что попросил один день на обдумывание, и объяснил, что счел своим долгом сначала поговорить с ней. Кейт же ответила, что никакой другой его поступок не показал бы так ясно, насколько тесно они связаны друг с другом: она явно гордилась тем, что столь важное дело зависело от ее решения, но еще более явным было то, как она

восприняла его срочное задание. Ее обрадовали его перспективы, и она убеждала его поскорее взяться за выполнение почетной задачи; она будет ужасно скучать по нему, разумеется, будет скучать, как же иначе? – но столь мало придавала этому значения, что заранее радовалась тому, что он сможет увидеть и что сумеет сделать. Она такое значение придавала этому последнему обстоятельству, что Деншер рассмеялся ее наивности, и в то же время ему не хватало решимости сказать ей, какого размера *реально* была его ежедневная капля в море газетной продукции. Его поразило, с какой радостью Кейт восприняла то, что произошло на Флит-стрит, – тем более что он сам, в конце концов, отнесся к этому точно так же. Ему нужно будет поднять и усовершенствовать тему – именно этого от него и хотят – и, сколько бы ни было штатов в Соединенных Штатах, посетить по возможности каждый из них; и потребуется много больше, чем все Соединенные Штаты, вместе взятые, чтобы выбить *его* из колеи. Именно потому, что он не занимался пустой болтовней, не совал повсюду свой нос, не был заядлым сплетником, его и выбрали из всех. Это было новое ответвление их корреспонденции, для которого потребовался новый тон, именно с этим ответвлением связанный, такой тон, каким оно, с этих пор начиная, всегда будет отличаться благодаря его, Деншера, примеру.

– Да ты и вправду должна быть женой журналиста, раз так хорошо все понимаешь! – воскликнул Деншер в восхищении, хотя в глубине души поразился, что она фактически торопит его уехать.

Однако Кейт оказалась чуть ли не раздражена его похвалой:

– Как ты можешь ожидать, что тебя не поймут, когда тебя так любят?

– Ах, тогда я скажу это иначе: «Как же ты меня любишь!»

– Да, – подтвердила она, – это, по справедливости, искупает мою глупость. – И она добавила: – Должна же хотя бы я пользоваться воображением за тебя!

В этот раз она говорила о будущем как о чем-то столь маловероятном, что Деншер почувствовал какую-то ненормальность в собственном сознании из-за того, что подробно рассказал ей – с выводами, к которым теперь пришел, – о том, что произошло между ним и реальной вершителем их судьбы. Этому рассказу несколько мешала новость, полученная Деншером с Флит-стрит; однако в тигле их радостного разговора этот элемент очень скоро слился с другим, и в образовавшемся сплаве их уже нельзя было отличить друг от друга. Более того, наш молодой человек, прежде чем попрощаться, успел понять, почему Кейт говорила с мудростью, к этому безразличной, и обрел это понимание окольным путем, лишь углубившим его радость. Оба они обратили свои взоры к ярко освещенной стороне жизни, стоило ему лишь ответить на вопрос Кейт, способны ли они для вида сыграть в терпение – в чудовищную игру в терпение, и сыграть ее с успехом? Именно ради возможности сделать такой вид она несколько дней назад и настаивала так упорно, чтобы он повидался с ее тетушкой; и если после часа, проведенного с этой дамой, Деншеру не пришло в голову, что встреча с нею прошла весьма успешно, то теперь, по крайней мере, неприятные факты заблестали гораздо более благоприятным смыслом, пока Кейт разбирала их один за другим.

– Если она соглашается, чтобы ты приходил к нам, разве это не все, что надо?

– Это и есть все, что надо, с ее точки зрения. Это вероятность – я имею в виду вероятность по меркам миссис Лоудер – того, что можно будет не дать мне стать ей помехой, как-нибудь, любым способом, устроив так, чтобы ты виделась со мной легко и часто. Она уверена, что я нуждаюсь в деньгах, и это дает ей время. Она верит, что у меня есть некоторая доля деликатности, в том отношении, что я постараюсь улучшить свое состояние, прежде чем приставлю пистолет к твоему виску, требуя, чтобы ты это состояние со мной разделила. Время, которое мне для этого понадобится, оказывается тем временем, которое пойдет ей на пользу, если она сама не повредит делу плохим отношением ко мне. Более того, она вовсе не желает плохо ко мне относиться, – продолжал Деншер, – я думаю, честное слово, каким

бы странным это тебе ни показалось, что ей самой я скорее нравлюсь, и если бы речь не шла о тебе, я мог бы стать для нее чуть ли не ее личным «молодым человеком» – домашним любимцем, вроде болонки. Она ведь не относится пренебрежительно ни к интеллекту, ни к культуре – совершенно наоборот! – ей хочется, чтобы они украшали ее стол и дом и ассоциировались с ее именем; и я уверен, что порой ей причиняет острую боль то, что моя персона одновременно столь желательна и столь неприемлема. – Деншер на миг замолчал, и его собеседница вдруг увидела на его лице странную улыбку, еще более странную, чем ее собственная в ответ на его пронизательное сообщение. – Я даже подозреваю, что – если бы правда стала известна – в глубине души я нравлюсь ей больше, чем тебе самой, поэтому она и делает мне честь, считая, что мне можно довериться и я сам погублю дело, успеха которого добиваюсь. Вот тут, говорю я, и есть ее предел. Я не из тех романтических любовников, чье чувство изнашивается, размывается, изживает себя, не выносит близости. Только раз, хотя бы в самой малой степени, допусти, что это так, твоя гордость и предубеждение тотчас позаботятся обо всем остальном: гордость, тем временем досыта накормленная по системе, которую собирается применить к тебе твоя тетушка, и предубеждение, возбужденное сравнением, для чего она создаст тебе необходимые возможности и которое будет вовсе не в мою пользу. Я ей нравлюсь, однако я понравлюсь ей гораздо больше, когда она добьется чуть больше успеха в том, чтобы заставить меня выглядеть несчастным. Потому что тогда я стану меньше нравиться тебе.

Кейт проявила к этому его высказыванию должный интерес, но ничуть не встревожилась; и, словно платя той же монетой за его мягкий цинизм, после секундного молчания ответила:

– Я понимаю, понимаю... Какой же выгодной сделкой она, должно быть, меня считает! Я это сознавала, но ты смог углубить это впечатление.

– Думаю, ты не ошибешься, – ответил ей Деншер, – если позволишь ему проникнуть как можно глубже.

Он и в самом деле предоставил ей массу материала, ее порадовавшего – Кейт без колебаний показала ему, что это так.

– То, что она согласилась тебя слушать и тебе отвечать, что храбро пригласила тебя приходить к нам в дом, как ты говоришь – это ведь просто колоссальная идея, ты же понимаешь, достойная всех ее других крупных дел, какие – насколько я знаю других людей – выделяют ее из общего ряда.

– О, она великолепна, – согласился Деншер, – по своим масштабам она просто достойна колесницы Джаггернаута – этот образ пришел мне вчера в голову, пока я ждал твою тетушку в гостиной на Ланкастер-Гейт. Вещи в вашей гостиной походят на фигуры странных идолов, режущих глаз своим мистическим уродством, от которого у человека уши могут встать дыбом.

– Да, правда, – не стала возражать Кейт, и у них состоялась одна из тех глубоких и свободных бесед об этой замечательной даме, где все ноты, кроме доверительной, прозвучали бы для них фальшиво. Были там и сложности, были и вопросы, но духовное единение этих двоих оказалось сильнее всего остального. Кейт какое-то время не произносила ни слова в опровержение «великодушной» дипломатичности тетушки Мод, и они так и оставили эту проблему, как оставили бы любой другой прекрасный материал для монумента в честь тетушкиных способностей. Однако, продолжал свое повествование Деншер, ему пришлось встретиться лицом к лицу колесницу Джаггернаута и в другой связи; он ничего не опустил в отчете о своем визите, и менее всего то, как тетушка Мод в конце концов откровенно – хотя и в результате искусного давления – осудила тот тип людей, к которому он принадлежит, отсутствие у него должных ориентиров, его инциденты с иностранцами, его стран-

ную биографию. Она заявила ему, что он всего лишь наполовину британец, – «от чего я бы ужасно расстроился, – признался он Кейт, – если бы сам не допускал такой мысли».

– Видишь ли, мне и в самом деле было любопытно, – объяснил он, – выведать у нее, каким странным созданием, какой социальной аномалией, в свете принятых ею норм, выглядит человек, получивший такое образование, как у меня.

Какое-то время Кейт ничего не говорила. Потом спросила:

– С какой стати это должно тебя беспокоить?

– О! – рассмеялся Деншер, – она мне так нравится; и, кроме того, для человека моей профессии очень важно уловить ее настроения, ее взгляды: они свойственны великому общественному мнению, с которым мы сталкиваемся на каждом повороте, и именно к ним мы должны подбирать «коды». Помимо этого, – добавил он, – мне хочется сделать ей приятное – ей персонально.

– Ах да, мы должны ей персонально сделать приятное, – эхом отозвалась его собеседница, и ее слова могут служить подтверждением их обоюдного признания тогдашней политической победы Деншера в беседе с тетушкой Мод.

Между этим событием и его отъездом в Нью-Йорк им – обоим вместе – необходимо было разобраться со множеством проблем, а вопрос, которого сейчас коснулся Деншер, оказался для Кейт важнее всего. Она глядела на собеседника так, будто он и правда поведал ее тетушке гораздо больше сокровенных деталей своей личной жизни, чем ей самой. Это – если так оно и было – настоящая катастрофа, забросившая его, вместе с тетушкой Мод, на полчаса, подобно чичероне и его жертве – туристке, на самую верхушку башни, откуда открывается – ни мало ни много – весь вид с птичьего полета на детские и юношеские годы Деншера за границей, на его мигрирующих родителей, на его швейцарские школы, его немецкий университет, что так легко привлекло внимание миссис Лоудер. Какой-нибудь человек, давал он ей понять, – человек их мира – заметил бы его сразу же благодаря многим из этих пунктов; человек их мира – если у них действительно имелся свой мир – неминуемо прошел бы суровую школу жизни в Англии. Однако было не менее восхитительно исповедаться о своем прошлом женщине: женщины – это факт – обладают благословенно бóльшим воображением для восприятия таких отличительных черт и благословенно большей симпатией к ним. Сейчас и Кейт проявила как раз столько того и другого, сколько могла потребовать история Деншера: когда она выслушала ее с начала и до конца, она заявила, что теперь более, чем когда-либо раньше, она поняла, за что она его любит. Ведь и сама Кейт, ребенком, жила довольно продолжительное время на другом берегу Канала, а вернувшись домой, все еще ребенком, подростком участвовала в кратких, но неоднократных отъездах матери в Дрезден, во Флоренцию, в Биарриц: это были слабые и дорогостоящие попытки экономить. Из заграницы Кейт вынесла стойкий – хотя обычно холодно выражаемый (она всегда инстинктивно избегала дешевых восторгов) – культ заграничного. Когда ей открылось, насколько больше заграничного таилось в Мертоне Деншере, чем он до сих пор побеспокоился для нее каталогизировать, она смотрела ему в лицо почти так, будто он – воплощенная карта континентальной Европы или прелестный подарок – восхитительное новое издание знаменитого путеводителя Джона Марри. Деншер вовсе не имел намерения хвастаться, скорее он намеревался привести аргументы в свое оправдание, хотя в беседе с миссис Лоудер ему еще хотелось кое-что ей объяснить. Его отец служил британским священником в чужих землях, в двадцати английских поселениях; иногда на постоянной должности, иногда – на временной, и многие годы ему необычайно везло: никогда не приходилось ждать очередного назначения на место. Поэтому его карьера за границей была непрерывной, а так как его жалование никогда не было велико, он смог дать своим детям образование лишь за самую малую плату, в школах, находившихся ближе всего к дому, что позволяло еще экономить на железнодорожных билетах. Далее выяснилось, что мать Деншера, со своей стороны, занялась весьма достойным

ремеслом, успех которого – насколько успех венчал ее занятия – в этот период изгнания значительно пополнял их бюджет: мать, эта терпеливая дама, копировала знаменитые картины в крупных музеях, начав с обладания счастливым природным даром и вовремя оценив границы своих возможностей. Копиистов за границей, естественно, хоть пруд пруди, но миссис Деншер, обладавшая тонким чувством и собственной оригинальной кистью, достигла такого совершенства, которое не только убеждало, но даже обманывало, что превращало «размещение» ее работ в обычное и приятное дело. Сын ее, уже ее потерявший, хранил в памяти образ матери, как образ священный, и впечатление, произведенное его рассказом о ней – и о многом другом, – до тех пор путаное и туманное, теперь придало истории его жизни яркость, его истокам – полноту, а сам его очерк можно было счесть каким угодно, только не банальным. С ним – Деншером – все в порядке, он вернулся, он многословно настаивал, что он – британец: годы, проведенные в Кембридже, его удачные, как оказалось, связи с коллегией его отца убедительно подтверждают это, не говоря уже о том, что он в результате приземлился в Лондоне, что довершило доказательства. Однако, хотя само по себе приземление на английскую почву потребовало достаточно мужества, ему пришлось пересекать такие воздушные зоны, которые оставили заметные взъерошины на его крыльях: он был подвергнут неизгладимым инициациям. С ним случилось нечто такое, что никогда не может быть исправлено или забыто.

Когда Кейт Крой сказала на это все, что следовало, он умолял ее не настаивать, потому что именно в этом и было всерьез все дело, так как, вероятно, он был слишком испорчен, чтобы стать настоящим англичанином, слишком непригоден для островного применения. В ответ на это, что не так уж неестественно, Кейт стала настаивать еще сильнее, заверяя его и не смягчая выражений, что, если он разнообразен и сложен, обременен умом и вкусом, она ни за что на свете не хотела бы видеть его более пригодным; так что в конце концов он был вынужден упрекнуть ее, что она прикрывает горькую правду пустой лестью. Она судит о нем как о человеке вне пределов нормы, чтобы со временем найти его неприемлемым; а поскольку она может выяснить это лишь с его помощью, она пытается подкупить его притворным восхищением, чтобы он ей помог. Если ее последние слова, обращенные к нему в этой связи, означали, что то, как он видит себя, есть неопределимое доказательство, что он отведал плода с древа познания и, следовательно, готов помочь ей его есть, то это придает радостный тон всей их беседе и меру быстрому течению времени ввиду его решенного скорого отъезда. Однако поведение Кейт показало, чем она более всего задета, когда она заговорила об облегчении, которое почувствует тетюшка Мод от его планируемого отсутствия.

– Мне трудно понять, почему она это почувствует, раз она так мало меня опасается.

Его подруга некоторое время взвешивала это возражение.

– Ты полагаешь, что настолько ей нравишься, что она, зайдя довольно далеко, даже пожалеет о такой потере?

Ну, тут Деншер принялся рассматривать этот вопрос в их обычной всесторонней манере.

– Поскольку то, на чем она строит, есть процесс твоего постепенного отчуждения от меня, она может придерживаться взгляда, что для этого процесса необходимо мое постоянное присутствие. Разве я не должен быть на месте, чтобы он шел без сучка без задоринки? А во время моей ссылки процесс может замедлиться.

Деншер продолжал фантазировать на эту тему, но в какой-то момент Кейт вдруг перестала внимать ему. Некоторое время спустя он заметил, что она, по-видимому, занята обдумыванием какой-то своей идеи: он успел уже почувствовать нарастание чего-то решающего даже сквозь поток избыточных любезностей и теплой, прозрачной иронии, в который, подобно уверенному пловцу, то и дело устремлялась их живая и близкая дружба. Вдруг, светясь необычайной красотой, Кейт сказала ему:

– Я обручаюсь с тобою навеки. – Красота была во всем, и Деншер не мог ничего отделить друг от друга, не мог представить себе ее лицо отдельным от охватившей его радости. Однако лицо ее сияло каким-то новым светом. – И я отдаю тебе в дар – призывая Бога мне в свидетели – каждую искорку моего доверия; я отдаю тебе каждую каплю моей жизни.

В тот момент это было все, но этого было достаточно, и все было сказано так спокойно, словно совсем не имело значения. Они находились на открытом воздухе, в аллее Парка, огромное пространство, казалось, в этот момент выгнулось для них обоих вверх более высокой аркой и распростерлось гораздо шире, отбросив их снова в глубокую сосредоточенность. Обоюдный инстинкт побудил их двинуться к попавшемуся на глаза довольно уединенному месту, и там, прежде чем истекло время их свидания, они сумели извлечь из своей сосредоточенности все авансы, какие только она могла им дать. Они обменялись клятвами и подарками на память, торжественно утвердили свой полный глубокого смысла договор и настолько торжественно, насколько это можно было сделать едва слышными словами, нечленораздельными звуками, сияющими глазами и соединившимися руками, подтвердили свое согласие принадлежать исключительно, принадлежать всецело лишь друг другу. Соответственно, они должны были покинуть Парк помолвленными, но прежде, чем они ушли оттуда, между ними произошло кое-что еще: Деншер заявил, что боится положить преждевременный конец счастливым отношениям Кейт с ее тетюшкой, и они вместе разработали меры осторожности высочайшего уровня. Кейт тотчас же заверила Деншера, что вовсе не желает лишить его возможности лицезреть миссис Лоудер, что, как она надеется, со временем будет его по-прежнему радовать; а так как, по благословенной случайности, тетюшка не потребовала от него никаких обещаний, какие могли бы связать ему руки, они, по-видимому, смогут снискать благосклонность своей звезды собственными силами, тем не менее оставаясь ей лояльными. Одна трудность все же вырисовывалась довольно ясно, и Деншер на нее указал.

– Ни в коем случае нельзя – и мы должны об этом помнить, – чтобы в какой-то момент ты позволила ей дать надежду на твою руку кому-то другому, какому-то определенному человеку. До тех пор пока она довольствуется тем всеохватывающим взглядом, каким он представляется сейчас, я не считаю, что мы ее обманываем. Наступит час, когда она должна будет узнать правду: поэтому единственное, что нам остается, – быть готовыми к такому часу и смело встретить его лицом к лицу. Только, – заметил наш молодой человек, – в этом случае я не совсем представляю себе, что мы от нее получим.

– А что она получит от нас? – с улыбкой парировала Кейт. – Что она получит от нас, – продолжала она, – это ее личное дело, ей самой о том и судить. Я ее никогда ни о чем не просила, – добавила она. – Никогда ей не навязывалась. Она должна пойти на риск, и она это понимает. О том, что мы от нее получим, мы с тобой уже говорили, – продолжала Кейт, – мы выиграем время. И она, между прочим, тоже.

Деншер несколько мгновений всматривался в эту ясность: в этот час его взор вовсе не был устремлен в романтическую неизвестность.

– Да, вне всякого сомнения, в нашей исключительной ситуации время – это всё. И, кроме всего прочего, это радость.

Кейт колебалась:

– Радость – в нашей тайне?

– Вероятно, не столько в самой тайне, а в том, что она для нас представляет, – мы ведь должны это как-то ощущать – она укрепляет и делает нас глубже и ближе друг другу. – И его прекрасное лицо, светящееся облегчением и счастьем, открыло ей все, что он имел в виду. – Радость в том, что мы с тобой такие, какие есть.

Целую минуту Кейт как бы давала сказанному им проникнуть как можно глубже в ее сознание.

– Такие любящие?

– Такие любящие. Такие очень любящие. И все же, – он улыбнулся, – мы будем любить еще сильнее.

Ее ответом было лишь ласковое молчание – молчание, которое, как им обоим казалось, помогало заглянуть в далекое будущее. Оно было великолепно и необъятно, и теперь они окончательно им завладели. Они были практически едины и замечательно сильны, однако существовали еще и другие обстоятельства, но эти обстоятельства у них как раз хватит сил должным образом принять во внимание и благополучно сделать на них поправку, а посему в настоящее время, повинаясь доводам здравого рассудка, они будут хранить свое понимание ситуации про себя. Тем не менее они почувствовали, что разобрались с проблемой до конца, только после того, как Деншер привел еще одно соображение.

– Разумеется, единственное, что она может сделать, – это в любой день решительно навязать тебе свою волю.

Кейт задумалась.

– Ну честное слово, ты еще спроси меня, о чем мы с тобой договорились? Она, разумеется, может, только я сомневаюсь, что она и правда так сделает. Пока ты далеко, она использует этот спад напряжения наилучшим образом. Она оставит меня в покое.

– Но ведь будут мои письма.

Кейт представила себе его письма.

– Очень-очень много писем?

– Очень-очень-очень много, больше, чем когда-либо, и ты знаешь, что это такое! А потом, – добавил Деншер, – ведь будут твои.

– Ну, я-то не стану оставлять свои письма на столе в холле, буду отправлять их сама.

Он некоторое время глядел на нее.

– Думаешь, мне лучше посылать их на какой-то другой адрес? – Но тут же, прежде чем она собралась ответить, добавил: – Пожалуй, лучше этого не делать. Так прямодушнее.

Она снова немного помолчала.

– Конечно, так прямодушнее. Не бойся, что я не буду прямодушной. Посылай письма на любой адрес, какой захочешь, – продолжала она. – Я стану гордиться, когда все узнают, что ты мне пишешь.

Деншер обдумывал ее слова, чтобы добиться окончательной ясности.

– Даже если это и в самом деле навлечет инквизицию?

Ну что сказать? Окончательная ясность теперь наполнила и все существо Кейт.

– Я не боюсь инквизиции. Если она спросит, есть ли между нами что-либо определенное, я точно знаю, что ей отвечу.

– Что я, разумеется, совершенно *схожу по тебе с ума*?

– Что я тебя люблю так, как никогда в жизни не полюблю никого другого, и она может делать по этому поводу все, что ей заблагорассудится.

Это было сказано так прекрасно, что стало подобно новому заверению в ее доверии, чья полнота сломала все преграды; а в результате ее собеседник в свою очередь одарил ее таким долгим взглядом, что у нее хватило времени добавить: – Но ведь она с тем же успехом может спросить и тебя.

– Да я ведь буду далеко.

– Тогда – как только ты вернешься.

– Вот тогда-то мы с тобой и порадуемся по-настоящему, – сказал Деншер. – Однако я чувствую, – чистосердечно прибавил он, – что, исходя из ее главной теории, из соображений ее высшей политики, она меня *не спросит*. Она меня помилует. Мне не придется ей лгать.

– Все это достанется мне?

– Все – тебе! – ласково засмеялся Деншер.

Но в следующий момент произошло что-то странное, будто он повел себя чуть слишком чистосердечно. Отмеченное им различие, казалось, подчеркивало возможную, естественную реальность – реальность, не вполне исключавшуюся тем, что сию минуту говорила Кейт о своих намерениях. Ощущалась разница в самой атмосфере, даже если это была всего-навсего обычно предполагаемая разница между мужчиной и женщиной; и смысл случившегося чуть ли не вызвал гнев Кейт. Казалось, она с минуту не могла найти что сказать, а затем неохотно вернулась к тому, чему она позволила прозвучать минуту назад. Наша молодая женщина, по-видимому, восприняла более серьезно, чем следовало, шутку о том, что способна непринужденно лгать. Однако и это она облекла в изящную форму.

– Мужчины слишком глупы – даже ты. Ты только что не смог понять, что если я стану сама отправлять свои письма, то вовсе не затем, чтобы их прятать, – это было бы просто вульгарно!

– О, ты подсказала правильное слово: ради *удовольствия!*

– Да, но ты не понял, ты не понимаешь, в чем может быть это удовольствие. Здесь есть тонкости!.. – обронила она более спокойно. – Я имею в виду тонкость понимания, тонкость чувства, тонкость оценки. – И она продолжала: – Нет, мужчины не понимают. Они знают о таких вещах лишь то, что показывают им женщины.

Это была одна из тех речей, нередких в устах Кейт, какие он великодушно, радостно, с большим интересом выслушивал и, как это порой случалось, использовал их содержание. Эта речь снова притянула его к Кейт так близко, как только позволяли условия, в которых они находились.

– Вот это и есть точная причина, почему мы так катастрофически нуждаемся в вас!

Книга третья

I

Две дамы, которых до начала сезона в Швейцарии предупреждали, что их план совершенно не продуман, что перевалы не будут проходимы, а погода не будет мягкой, да и гостиницы еще не откроются, – эти две дамы стойко, что для них было весьма характерно, вытерпев все увещевания тех, кто, по-видимому, этим интересовался, обнаружили, что их приключение чудесным образом обернулось в их пользу. Таково было суждение метрдотелей и старших официантов, а также других функционеров на итальянских озерах, которое оказалось суждением людей неравнодушных: они и сами понимали нетерпеливость смелых мечтаний, во всяком случае те, кто помоложе; так что одно из соображений, к которому они пришли вместе – а им приходилось разбираться в бесконечном множестве вариантов, – было то, что в опероподобных дворцах Виллы д’Эсте, Каденаббии, Палланцы и Стрезы одинокие женщины, пусть даже поддержанные целой портативной библиотекой поучительных томов, неминуемо будут обмануты и погибнут. Однако полеты их фантазии были вполне скромными: они, например, ничем жизненно важным не рисковали, надеясь совершить путешествие на пароходе «Брюниг». Они действительно совершили его вполне счастливо, как мы теперь видим, и желали лишь, благодаря чудесной ранней и быстро нарастающей весне, чтобы путешествие длилось подольше, а места стоянок и отдыха попадались почаще.

Во всяком случае, таково было мельком упомянутое мнение миссис Стрингем, старшей из двух путешественниц, у которой имелся свой собственный взгляд на нетерпеливость младшей, кому она тем не менее оппонировала мягко и исключительно обиняками. Она передвигалась, эта восхитительная миссис Стрингем, во внушительном облаке наблюдательности, смешанной с подозрительностью; она была убеждена, что знает о Милли Тил гораздо больше, чем знает сама Милли, и поэтому имеет право скрывать это знание, в то же время активно его используя. Эта женщина, попав в мир, по природе своей вовсе не созданный для двуличности, запутанных ситуаций и интриг – что сама она прекрасно сознавала, – оказалась вынуждена приспособлять собственную хитрость и коварство к новым обстоятельствам, более всего из-за вновь сложившихся личных отношений; ей пришлось теперь признать, что познания в сфере «окультурного» (она вряд ли знала, как это следует называть) она начала приобретать в тот день, когда покинула Нью-Йорк вместе с Милдред. Она приехала из Бостона ради этой цели и, прежде чем принять предложение Милли, видела девушку мало или, вернее сказать, очень кратко, ибо миссис Стрингем, если она вообще что-нибудь видела, видела много, видела *всё*; а приняв предложение, в результате этого акта поместилась на корабле, который все более и более по-человечески оценивала как один из самых больших и, точно так же, несомненно, по причине его колоссальных размеров, во многих отношениях самый надежный. Предыдущей зимой в Бостоне юная леди, которая нас теперь интересуется, с первого взгляда понравилась миссис Стрингем, почти безмолвно, но глубоко заронив в ее душу застенчивое тщеславие, надежду, что она сумеет оказать девушке какую-то помощь, как-то выказать преданность. Миссис Стрингем в ее узенькой жизни часто посещали такие вот застенчивые тщеславия – тайные мечтания, трепетавшие крылышками в свой час меж ее тесных стен и большею частью ни на что иное не осмеливавшиеся, кроме как взглянуть в ее довольно мутные окна. Однако на этот раз ее воображение – фантазия о возможной связи с чудесным юным существом из Нью-Йорка – набралось-таки мужества: оно в тот же момент взгромоздилось на наблюдательный пост с самыми прозрачными окнами и, можно сказать,

так там и оставалось, пока, всего несколько месяцев спустя, не обнаружило несомненную вспышку сигнала.

У Милли Тил в Бостоне были какие-никакие друзья – друзья совсем недавние; и считалось, что ее поездка к ним – поездка, которая не должна была оказаться слишком краткой, – предпринималась, после целой серии неприятностей, с тем, чтобы Милли могла пожить в условиях особого покоя, какого не мог дать Нью-Йорк. Все признавали, довольно либерально, что Нью-Йорк способен дать очень многое, может быть, даже слишком много, но это совершенно ничего не меняло в той важной истине, что прежде всего тебе требуется, как учит нас жизнь – или смерть, – осознать, что твое положение действительно серьезно. Бостон был способен помочь в этом смысле, как ничто другое, и он – в соответствии со всеми предположениями – предоставил Милли некую меру такой помощи. Миссис Стрингем никогда не сможет забыть – ибо ни та минута не потускнела в ее памяти, ни те необычайно прекрасные вибрации, какие та минута в ней возбудила, не угасли – ее собственный первый взгляд на видение, тогда никем не возвещенное и необъяснимое: стройная, неизменно бледная, изможденная, но изящная, аномально, но приятно угловатая юная особа, не старше двадцати двух лет, несмотря на описанные черты, с волосами столь исключительно рыжими, что просто не верилось, чтобы они могли быть натуральными, в чем они наивно признавались, а одежды ее поражали своим примечательно черным цветом, слишком черным даже для траура, знаком чего они и являлись. Это был нью-йоркский траур, это были нью-йоркские волосы, это была нью-йоркская история, пока еще бессвязная, но вовсе не редкая, об утрате родителей, братьев, сестер, практически всех человеческих привязанностей, произошедшей в таком масштабе и с таким размахом, какие требовали гораздо более обширной сцены; это была нью-йоркская легенда о трогательном, романтическом одиночестве и, помимо всего, судя по большинству сообщений, о куче денег, свалившихся на плечи этой девушки и, соответственно, о массе нью-йоркских возможностей. Она осталась одна, она была поражена болезнью, она была богата, и в особенности она была со странностями – комбинация такого рода сама по себе не могла не привлечь внимание миссис Стрингем. Однако именно странности более всего определили симпатию нашей доброжелательной дамы, убежденной, как ей и подобало быть, что эти странности гораздо значительнее, чем предполагал кто бы то ни было другой, то есть кто бы то ни было, кроме Сюзан Стрингем. Сюзан про себя решила, что Бостон вовсе не видит девушку, что он занят лишь тем, чтобы девушка увидела Бостон, и что предполагаемая духовная близость между этими двумя персонажами иллюзорна и тщетна. Она – Сюзан – *видела* это юное существо, и у нее был самый счастливый момент в жизни, когда она, следуя инстинкту, утаила это видение. Она не могла этого объяснить – ее бы не поняли. Стали бы произносить всякие бостонские заумные вещи и тем самым только затемнили бы обсуждение. Дело в том, что миссис Стрингем была родом из Берлингтона (штат Вермонт), который дерзко считала сердцем Новой Англии, Бостон же, с ее точки зрения, находился «слишком далеко к югу».

Не могло существовать лучшего доказательства (чем этот интеллектуальный раскол) впечатлению, произведенному на нашу приятельницу, которая сама сияла – и понимала это – лишь отраженным светом замечательного города. Она тоже прошла его обучение, однако оно не помогло ей стать человеком поразительным: обучение это оказалось прозаически обыденным, хотя, несомненно, было преподано в значительной дозе, оно лишь сделало ее прозаически обыкновенной, каким было само, то есть обыкновенной по-бостонски. Сначала Сюзан потеряла мужа, а затем – мать, с которой снова стала жить вместе после смерти мужа, так что теперь она чувствовала свое одиночество еще острее, чем прежде. Впрочем, она переносила его с холодным облегчением, поскольку, как она выражалась, ей вполне хватало на жизнь – при условии, что она будет жить на одном хлебе; как мало в действительности она удовлетворялась такой диетой, мы можем судить по прозвищу, которое она себе

приобрела, – Сюзан *Шеперд*-Стрингем – как постоянный клиент лучших магазинов города. Она писала рассказы и наивно-любовно верила, что нашла свою «ноту» – умение описывать Новую Англию не полностью застрявшей на кухне. Она и сама не воспитывалась на кухне и была знакома с другими, кого там не воспитывали; таким образом, говорить о них и за них стало ее литературной миссией. *Быть* настоящим литератором всегда оставалось ее самым дорогим замыслом; этот замысел всегда заставлял ее держать свои блестящие острые зубки наготове. Кругом находились мастера, образцы, знаменитости, в большинстве своем иностранные, опыт которых она в итоге принимала в расчет, в чьем свете изобретательно трудилась; существовали, однако, и другие, кого она, как бы о них ни болтали, считала глупыми и бессодержательными, ибо ее неприятия были весьма изобильны; и все же определять все категории ей не удавалось – во всяком случае, они переставали что-либо значить, как только Сюзан оказывалась рядом с чем-то настоящим, с романтической жизнью в чистом ее воплощении. Эту жизнь она и увидела в Милдред Тил, отчего ее рука некоторое время так сильно дрожала, что не могла держать перо. Сюзан казалось, что она совершила открытие, какого Новая Англия, очищенная от недостатков и грамматических ошибок, не могла ей дать; и она, вся состоящая из маленьких, причесанных воспоминаний и выдумок, из мелких замыслов и амбиций, смешанных с чем-то моральным и личным, почувствовала, что ее новая подруга окажет ей плохую услугу, если их дружба не разовьется, но если она разовьется, то от всего другого не останется и следа. Однако миссис Стрингем была вполне готова отказаться от всего остального; а пока она занималась своими обычными бостонскими делами с обычной бостонской безупречностью, ей все время приходилось держать себя в руках. Она носила «прелестную» фетровую шляпку, такую тирольскую, и все же, несмотря на украшавшие ее перья из орлиного крыла, такую почему-то домашнюю, носила ее со своей обычной решимостью и чувством безопасности; она добавляла к своим костюмам меховое боа со столь же обычной безупречной осторожностью, сохраняла равновесие, удерживаясь на ногах на обледенелых склонах, со столь же обычной ловкостью напрактиковавшегося человека. Каждый вечер она открывала свой номер «Транскрипта» с обычным смещением тревожного ожидания и смирения; она посещала – почти ежевечерне – концерты, с обычной затратой терпения и столь же обычной экономией эмоций; она впархивала в Публичную библиотеку и выпархивала из нее с видом добросовестно возвращающей или смело уносящей в собственном кармане ключ к Знанию как таковому; и наконец, вот что она действительно там делала: она следила за тоненькой струйкой романного «любовного интереса», пробивавшейся в змееподобном извилистом источнике – в журналах, ради чего она ухитрялась содержать этот источник в чистоте. Однако *настоящее* все это время находилось в совершенно другом месте, настоящее вернулось в Нью-Йорк, оставив после себя два нерешенных вопроса, совершенно четкие: почему же это – *настоящее* и придется ли ей – Сюзан – снова когда-нибудь оказаться рядом с этим настоящим?

Для особы, к которой относились эти вопросы, миссис Стрингем подобрала подходящее обозначение – она думала о ней исключительно как о девушке с прошлым. Многозначная реальность заключалась в том факте, что очень скоро, после всего лишь двух или трех встреч, эта девушка с прошлым, девушка, увенчанная короной волос цвета старого золота, и в трауре, непохожем на бостонский траур – одновременно и более мятежном из-за особой мрачности, и более легкомысленном из-за ненужных оборок, сказала ей, что она – Милли – никогда раньше не встречала никого подобного. Так что они встретились как две любопытные противоположности, и это простое замечание Милли – если его можно назвать простым – стало самым важным из всего, что когда-либо случалось с миссис Стрингем: оно на какое-то время лишило «любовный интерес» актуальности и даже уместности; оно, коротко говоря, сначала подвигло ее в очень большой степени – на благодарность, а затем – на немалое сочувствие. Тем не менее, если говорить о таком ее отношении к Милли, оно действи-

тельно могло служить доказательством, что Сюзан владеет ключом к Знанию: именно оно, как ничто другое, высветило для нее историю юной девушки. То, что потенциальная наследница всех веков никогда не видела никого, подобного простому, типичному подписчику, скажем, хотя бы «Транскрипта», было истиной – тем более выраженной со скромностью, со смирением, с сожалением, – которая характеризовала некую ситуацию. Эта ситуация накладывала на старшую из двух женщин, как бы для заполнения вакуума, бремя ответственности и, в частности, привела к тому, что миссис Стрингем спросила, кого бедняжка Милдред успела повидать и какой круг контактов потребовался, чтобы устроить ей столь странные сюрпризы. Такой опрос и правда в конце концов очистил атмосферу: ключ к Знанию шелкнул в замке, как только миссис Стрингем озарила догадка, что ее юная подруга изголодалась по культуре. А культура была как раз тем, что представляла собою для нее миссис Стрингем, и оправдать ожидания Милдред, соответственно этому принципу, должно было стать величайшим из предприятий нашей предприимчивой дамы. Она понимала, наша умнейшая дама, что, в свою очередь, представляет собой этот принцип, сознавала ограниченность собственных запасов, и некоторая тревога стала бы нарастать в ней, если бы еще быстрее не нарастало кое-что другое. А другое было – мы приводим здесь ее собственные слова – страстное воодушевление и мучительное сострадание. Вот что привлекло ее прежде всего, вот что, как ей казалось, открывало для нее двери в новое романтическое пространство, гораздо более широкое, чем все известное ей до сих пор, даже чем еще более опрометчивая связь с газетами, публикующими рассказы в картинках. Ибо, по сути, смысл заключался вот в чем: тема была великолепна, романтична, бездонна – иметь тысячи и тысячи (что вполне очевидно) в год, быть юной и интеллектуальной, и если не такой уж красивой, то, во всяком случае, в равной мере привлекать сильной, сумрачной и непонятной, но очаровательной странностью, что было даже лучше красоты, и, сверх всего этого, наслаждаться безграничной свободой – свободой ветра в пустыне... – это же невыразимо трогательно: быть так прекрасно экипированной и тем не менее оказаться обреченной судьбой на мелкие ошибки робкого ума.

Все это снова обратило воображение нашей подруги к Нью-Йорку, где заблуждения в интеллектуальной сфере так возможны, в результате чего ее визит туда, предпринятый в скором времени, оказался до краев переполнен интересными вещами. Поскольку Милли пригласила ее очень красиво, Сюзан нужно было выдержать, если хватит сил, нервное напряжение от столь глубокого доверия ее уму, и самое замечательное, что к концу ее трехнедельного визита она его *выдержала*. Надо, однако, сказать, что под конец этого срока ее ум приобрел сравнительную смелость и свободу: он имел дело с новыми для него величинами, с совершенно иными пропорциями, и это его освежило, так что миссис Стрингем отправилась домой, уже прилично владея своим сюжетом. Нью-Йорк был беспределен, Нью-Йорк был поразителен, полон странных историй, с целыми поколениями нецивилизованных, космополитических праотцев, что очень многое объясняло; возможность приблизиться к блестящему племени, последним цветком на стебле которого оказалось столь редкостное создание, разглядывать великолепную группу расточительных, неуправляемых, евших и пивших вволю и наслаждавшихся свободой и роскошью предков, прекрасных, давно почивших кузенов, пылких дядюшек, прелестных исчезнувших тетюшек – созданий из бюстов и локонов, запечатленных в мраморе, хотя бы и в таком виде, знаменитыми французскими ваятелями; все это, не говоря уже об эффекте, произведенном на миссис Стрингем более близким к ней отростком упомянутого стебля, не могло не расширить ее узенькое мировое пространство, одновременно до краев переполнив его людьми. Во всяком случае, наша парочка осуществила эффективный обмен: старшая подруга совершенно сознательно старалась быть поинтеллектуальнее, насколько могла, а младшая наслаждалась изобилием личных открытий, оставаясь – совершенно *несознательно* – изысканно необычной. В этом была поэзия... в этом крылась еще и история, думала миссис Стрингем, причем и то и другое по настрою

гораздо тоньше, чем у Метерлинка и Патера, чем у Марбо и Грегоровиуса. Она договаривалась со своей хозяйкой о времени, уделяемом чтению этих авторов, вряд ли при этом охватывая большую его протяженность, но то, что им удавалось воспринять, и то, что они пропускали, быстро погружалось для Сюзан в область относительного, так поспешно, так крепко – словно в тиски – успела она зажать свой главный ключ. Теперь все ее принципы и колебания, весь ее беспокойный энтузиазм слились в одну всепоглощающую тревогу – страх, что она может воздействовать на свою юную приятельницу неловко и грубо. Сюзан по-настоящему опасалась того, что она может сделать с Милли, и, чтобы избежать этого, избежать из уважения и энтузиазма, лучше вообще ничего не делать, оставив это юное существо в неприкосновенности, ибо ничье прикосновение, каким бы легким оно ни было, каким бы ни было оправданным, бережным или волнующим, не оказалось бы добрым и вполнину, оставив уродливый мазок на совершенстве, – это соображение отныне постоянно жило в ней как неотступная вдохновляющая идея.

Не прошло и месяца после события, определившего такое отношение миссис Стрингем, то есть буквально по не остывшим еще следам ее возвращения из Нью-Йорка она получила предложение, поставившее перед нею такой вопрос, с которым ее деликатность вполне могла бы сразиться. Не сможет ли миссис Стрингем отправиться в Европу вместе со своей юной подругой, по возможности в ближайшее время, и захочет ли она согласиться на это, не ставя никаких условий? Вопрос был отправлен по телеграфу, объяснения – в достаточном количестве – обещаны; предполагалась крайняя срочность; безоговорочная полная сдача поощрялась. Отдадим должное искренности Сюзан: она сдалась сразу же, не задумываясь, хотя это вовсе не делало чести ее логике. С самого начала она испытывала вполне осознанное желание пожертвовать чем-то ради своей новой знакомой, но сейчас она практически не сомневалась, что жертвует всем. Решению ее способствовала полнота особого впечатления – впечатления, в это время все более и более поддерживавшего ее, которое она выразила бы, если бы могла, сказав, что очарование юного создания, о котором идет речь, – в безусловном величии духа. Она даже согласилась бы покинуть это создание, если бы, как она сама говорила, уже более бесцеремонно, Милдред не была самым большим впечатлением в ее жизни. Во всяком случае, это был самый большой банковский счет в ее жизни: ясно, что ее не мог бы устроить никакой иной. Ее «место» – как тогда такие вещи назывались – оплачивалось «на широкую ногу», и все-таки дело было не в этом. Дело было – раз и навсегда – в ее натуре, это натура миссис Стрингем напоминала ей о термине, постоянно употребляемом в газетах об огромных новых пароходах, о неимоверном количестве «футов воды», которые они увлекают за собой; так что, если вы в своей маленькой лодке захотите покружить рядом, да еще подойти поближе, вам останется благодарить лишь себя самих, раз движение началось, за то, как потащит вас попутный поток. Милли увлекала за собой футы и футы воды, и сама мысль об этом могла бы показаться странной: одинокая девушка, не блиставшая здоровьем, не терпевшая грохота и представлений, породила попутное течение, словно какой-нибудь левиафан, ее компаньонка плыла бок о бок с нею с таким чувством, будто испытывает яростную качку. Более чем подготовленная к такому эмоциональному возбуждению, миссис Стрингем тем не менее оказалась не способна легко относиться к собственной последовательности. Связать себя вот так, на неопределенное время, казалось ей кружным путем к принципу «руки прочь» от совершенства. Если она и вправду желала быть уверенной, что не коснется его и не посадит пятна, то более прямым планом, несомненно, было бы вообще не находиться вблизи ее юной подруги. На самом деле Сюзан вполне это сознавала, а вместе с тем и степень, до которой ей самой хотелось, чтобы Милли жила своей собственной жизнью – жизнью более прекрасной, чем жизнь кого-либо другого. Однако эта трудность, по счастью, быстро рассеялась, как только она далее осознала – она обычно делала это очень быстро, – что она, Сюзан *Шенерд* (это прозвище большую часть времени очень забавляло

Милли), вовсе *не кто-либо другой*. Она отреклась от собственного характера, у нее теперь не было своей собственной жизни, и она всерьез верила, что таким образом она в наивысшей степени снаряжена вести жизнь Милли. Ни один человек на свете – в этом она была совершенно убеждена – не мог в равной мере обладать необходимыми данными, равной с нею квалификацией, и именно ради того, чтобы доказать это, она с такой готовностью взошла на борт корабля.

С тех пор, хотя не так уж много миновало недель, многое с ними происходило, многое им запомнилось и многое ушло бесследно, но одним из самых лучших событий оказалось само их морское путешествие по счастливому курсу на юг, к целой чреде средиземноморских портов, и его ослепительное завершение в Неаполе. Этому предшествовали два или три других события, случаи действительно довольно яркие, произошедшие в последние две недели их пребывания на родине; одно из них окончательно определило поспешную поездку миссис Стрингем в Нью-Йорк, сорок восемь напряженных часов с затаенным дыханием, проведенные ею там еще до отплытия в главное путешествие. Однако неугасимое сияние морских маяков поглотило всю остальную картину, так что в течение многих дней другие вопросы и другие возможности для них звучали так, как трио грошовых свистков звучало бы в увертюре Вагнера. А это и была увертюра Вагнера – все то время, что они путешествовали по Италии, где Милли уже побывала раньше, но теперь еще дальше и выше, и через Альпы, которые уже были немного известны миссис Стрингем, только, вероятно, теперь оказались «покорены» в не вполне удачное время – из-за поспешности, вызванной крайним нетерпением девушки. Так и ожидалось, она ведь откровенно обещала быть нетерпеливой – оттого-то она и была «совершенной», – или, возможно, в любом случае это следствие, а не причина, – однако она ведь, вероятно, отчасти утаила, что станет так сильно натягивать поводок. Это было знакомо: по мнению миссис Стрингем, прекрасно, что у нее оказались недоделки, которые нужно было доделать, возможности, упущенные ею из-за распутной жизни предков, обожавших Париж, но отнюдь не за его высокие стороны, и фактически не любивших ничего другого, кроме его неопределенности, открытости, энтузиазма без цели и интереса без перерывов. И все это было частью очаровательной странности юной девушки, когда она впервые появилась, но стало еще более поразительным, возрастая пропорционально тому, как наши путешественницы торжествовали победу над передвижениями и переменами. Милли обладала особыми чертами характера, особыми умениями, которые невозможно ни с точностью описать, ни перечислить, но они становились каждодневным благом, когда приходилось с ними жить, как, например, умение быть почти трагически нетерпеливой, но выражать это так легко – не тяжелее воздуха; или быть необъяснимо печальной, но так светло, словно ясный полдень; быть безусловно веселой, но так мягко – не навязчивее, чем сумерки. Миссис Стрингем к этому времени уже все понимала и более, чем когда бы то ни было, утвердилась, с удивленным восхищением, в своем мнении, что вполне достаточно жить, просто чувствуя то, что чувствует ее спутница, однако существовали некоторые конкретные ключи, которые она не успела добавить к своей связке, впечатления, какие неожиданно должны были поразить ее своей новизной.

Тот конкретный день на великом швейцарском пути почему-то оказался полон таких впечатлений, и они относились, условно говоря, к какой-то более глубокой глубине, чем Сюзан успела затронуть, хотя, надо сказать, в две или три из таких глубин она уже всматривалась, и достаточно долго, так что это заставило ее вдруг отпрянуть. Коротко говоря, сейчас ее волновало вовсе не беспокойное состояние Милли – хотя, разумеется, поскольку Европа была для Америки величайшим успокоительным средством, наилучшим из транквилизаторов, на такую неудачу следовало обратить некоторое внимание, – беспокоило Сюзан подозреваемое ею существование чего-то кроющегося за состоянием ее подопечной, что тем не менее вряд ли могло образоваться там после их отъезда из Нью-Йорка. Коротко говоря,

невозможно было определить, откуда мог вдруг возникнуть новый мотив для беспокойства. Для них обеих послужило лишь полубъяснением то, что радостное возбуждение естественным образом угасло; а оставленное ими позади, иначе говоря, великие факты жизни, как любила называть это миссис Стрингем, снова стали возникать в их поле зрения, подобно крупным предметам, постепенно проступающим сквозь дым, когда дым начинает рассеиваться. Так оно, все в целом, и выглядело, притом что вид самой Милли, ее явно возросшая отстраненность, как представлялось, от всего этого девушку совершенно отъединяли. Самым близким к личному беспокойству случаем, до сих пор дозволенным себе старшей дамой, стало выбранное ею удобное время, чтобы задаться вопросом, не является ли то, что ей удалось захватить, помимо всего остального, одним из наиболее тонких, одним из тончайших, одним из редчайших примеров, – и она назвала это так, чтобы не назвать как-нибудь похуже, – американской интенсивности эмоций. Сюзан просто пережила минуту тревоги и спросила себя, да не собирается ли юная подруга угостить ее усложненной драмой нервного срыва? Однако к концу недели, по мере их продвижения дальше, ее юная подруга весьма эффективно ответила на этот вопрос, оставив впечатление, пока еще не вполне ясное, чего-то такого, в сравнении с чем «нервный срыв» был бы объяснением совершенно вульгарным. Иначе говоря, с этого часа миссис Стрингем обнаружила, что стоит перед объяснением, имеющим приглушенную и неощутимую форму, но несомненно, если только оно обретет четкость, то объяснит все, даже более, чем все, моментально став тем светом, в котором и следует читать Милли Тил.

Такой материал для чтения мог бы в любом случае поведать нам о стиле, в каком наша юная леди влияла на тех, кто находился близ нее, свидетельствовать о том, какой интерес она могла возбудить. Она воздействовала – и казалось, вовсе без задней мысли – на сочувствие, на любопытство, на воображение тех, кто был с нею связан, да мы и сами, по правде говоря, сможем приблизиться к ней не иначе как разделяя впечатления, а если придется, и недоумения этих людей. Миссис Стрингем сказала бы, что Милли приводила их в согласное недоумение, а это для нашей достойной дамы в конечном счете абсолютно гармонировало с величием духа ее подопечной. Молодая девушка превышала любые измерения, выходила за их пределы, она удивляла людей потому лишь, что *они сами* были далеки от такого величия. Так и случилось в тот поразительный день у горного перевала Брюниг, что наблюдение за Милли вызвало у старшей подруги восхищение, похожее на наваждение, став еще более непреодолимым, чем когда-либо, доказательством, хотя бы отчасти, до чего она дошла. У нее возникло ощущение, будто она выслеживает свою юную подругу, чтобы в определенный момент на нее наброситься. Она понимала, что набрасываться ей нельзя, она явилась сюда вовсе не для того, чтобы наброситься, однако она чувствовала, что ее внимание к Милли в любом случае – внимание скрываемое, а наблюдения – естественнонаучные. Она поражалась самой себе: ведь она постоянно находится поблизости, словно шпион, подвергает девушку испытаниям, устраивает ей ловушки, прячет следы. Однако это должно продлиться лишь до тех пор, пока миссис Стрингем не выяснит в чем же, по сути дело; а тем временем наблюдать за девушкой в конечном счете означало быть к ней как можно ближе, означало не менее чем постоянную занятость и само по себе давало удовлетворение. Более того, удовольствие от такого наблюдения, если бы нужна была для этого причина, порождалось восприятием ее красоты. Поначалу казалось, что красота Милли не играла никакой роли во всей ситуации; миссис Стрингем, при первой вспышке дружбы, даже никому об этом прямо не упоминала, рано обнаружив, что людям глупым – а кто же, порою втайне спрашивала она себя, теперь не глуп? – упомяни она об этом, потребуется слишком много объяснений. Она научилась не упоминать об этом до тех пор, пока кто-нибудь не упомянет об этом первым, что порою случалось, хотя не так уж часто; вот тут она оказывалась на коне и пускалась во весь опор. Тогда она с готовностью соглашалась с впечатлением, совпадавшим с ее

собственным, но опровергала его в том, что касалось особых деталей; хотя и тут она научилась особой тонкости – она даже стала пользоваться словом, употребляемым большинством собеседников. Она пользовалась им, чтобы сделать вид, что она тоже глупа, и таким образом могла покончить с этой темой. Она говорила о своей подруге, называя ее некрасивой и даже уродливой, если кто-то особенно рьяно настаивал, но утверждая, что в ее внешности «ужасно много всего». Такова была ее манера описывать лицо, которое, несомненно, благодаря слишком большому лбу, слишком большому носу и слишком большому рту, в сочетании со слишком малым присутствием общепринятого цвета и привычных контуров, было выразительно, необычно, изысканно – как во время беседы, так и в молчании. Когда Милли улыбалась, это был всенародный праздник, если же не улыбалась, это становилось главой истории. Путешественницы остановились на перевале Брюниг, чтобы съесть ланч, и там их, очарованных этим местом, посетила мысль, что тут можно было бы задержаться подольше.

Миссис Стрингем ступила теперь на территорию трепетного узнавания, небольших, но острых отзвуков прошлого, хранимого в сильно потертом футляре, которое тем не менее, если нажать на пружинку и открыть доступ воздуху, начинало усердно и громко тикать, подобно честным старым часам. Забальзамированная в памяти «Европа» ее юных лет отчасти означала три года в Швейцарии, непрерывное обучение в школе в Вевее, с наградами за успехи в форме серебряных медалей на голубых лентах и походов через не очень трудные горные проходы, атакуемые с помощью альпенштоков. На самые высокие перевалы брали самых лучших учениц, и наша приятельница могла теперь судить – по своему предполагаемому знакомству с меньшими вершинами, что она была тогда одной из самых лучших. Эти воспоминания, ставшие сегодня священными, поскольку готовились в затихших сказочных палатах прошлого, были частью главного пути, намеченного для двух сестер – дочерей, рано лишившихся отца, – их отважной вермонтской матерью, которая теперь поразжала Сюзан тем, что, чуть ли не как Колумб, явно без посторонней помощи, разработала концепцию другой стороны земного шара. У себя в Берлингтоне она сосредоточила свое внимание на швейцарском городке Вевей по природному озарению, и притом с поразительной завершенностью; после чего она села на корабль, отплыла, сошла на твердую землю, все разведала и, самое главное, извлекла пользу из своего там присутствия. Она подарила своим двум дочерям пять лет в Швейцарии и Германии, что впоследствии и навсегда сделало эти пять лет эталоном для сравнения с любыми циклами в Катее и в особенности определило характер младшей из сестер – а младшей была Сюзан, – что позволило миссис Стрингем, когда представлялся случай, а таких случаев в ее жизни было немало, говорить себе: «Это определяет всю разницу». Это определяло всю разницу для миссис Стрингем, это случалось снова и снова, и к тому же в связи с самыми разными, далеко отстоящими друг от друга событиями; в частности, с тем, что благодаря одинокой, расчетливой и стойкой убежденности своей родительницы она стала женщиной, познавшей мир. Существовало множество женщин, знавших массу всяких вещей, которых сама она не знала, но, с другой стороны, они не были, подобно ей, женщинами, познавшими мир, и не понимали, *кто* она такая (это ей нравилось, так как низводило их еще ниже), не понимали они и того, какие возможности это давало ей о них судить. Никогда раньше миссис Стрингем не видела себя так ярко в описанном свете, как в теперешней фазе их совместного с Милли, пусть и не очень управляемого паломничества; и осознание этого, вероятно, сделало ее просьбу об остановке более настойчивой, чем она полагала. Невозвратимые дни вернулись к ней из далекого далека: отчасти они пришли с ощущением прохладного горного воздуха и всего остального, что он нес с собой, словно неистребимый запах давно изношенного наряда юности; здесь было все – сладость меда и роскошь свежего молока, перезвон колокольцев домашнего скота и плеск воды в ручьях, благоухание раздавленного неосторожной ногой бальзамника и головокружительная глубина узких ущелий.

Милли, как и она, тоже явно чувствовала все это, однако ее реакции лишь моментами трогали ее компаньонку, – как выразилась бы миссис Стрингем – так принцесса в старинной трагедии могла бы тронуть свою наперсницу, если бы той были когда-либо дозволены личные эмоции. Разумеется, принцесса только и могла быть принцессой – это истина, с которой наперснице, какой бы ответственной та ни была, приходилось жить, что весьма существенно. Миссис Стрингем была женщиной, познавшей мир, но Милли Тил была принцессой, единственной, с какой ей до сих пор приходилось иметь дело, и это по-своему тоже определяло всю разницу. Это был рок, тяжкая ноша для обреченного ее нести, тогда как для всякого другого это было бы просто превосходно заполненное место службы. Возможно, роковая ноша представляла собой, в связи с одиночеством Милли и другими загадками и тайнами, тот тяжкий груз, какой время от времени, как думалось ее наперснице, обременяет восхитительную головку девушки, и Сюзан покорно и смиренно склоняла перед нею свою. За ланчем Милли вполне охотно согласилась задержаться на перевале и оставила миссис Стрингем смотреть комнаты, решать вопросы, договариваться, чтобы им оставили их экипаж и лошадей для следования дальше; такие заботы выпадали на долю миссис Стрингем все чаще, как нечто само собою разумеющееся, однако в этот раз почему-то она особенно ярко увидела – с приятностью, в красках, чуть ли не в грандиозном масштабе, – что значит жить с великими. Ее юная подруга в высочайшей степени обладала чувством, исключавшим для нее общее понятие трудности, от которого она избавлялась вовсе не так, как – мы видели – избавляются от трудностей многие очаровательные особы, просто перепоручая решение другим. Милли же совершенно не допускала это понятие до себя, держа его на расстоянии: оно никогда не входило в ее круг; самая опечаленная наперсница не смогла бы втащить его к ней, и ступившая на эту тропу вынуждена была бы жить в изгнании. Иными словами, оказывать услуги было так легко, что все становилось похожим на придворную жизнь, только лишенную неудобств. Конечно, все сводилось к вопросу о деньгах, и наша наблюдательная дама к этому времени уже успела неоднократно поразмышлять о том, что, если говорить о «разнице», это было как раз то самое, именно это, не сравнимое ни с чем, и ничего кроме, что в конечном счете эту разницу более всего определяло. Особу, менее вульгарно и менее демонстративно делающую покупки, Сюзан и представить себе не могла бы; однако над всем, словно истина истин, торжествовал непреложный факт: девушка никуда не может деться от своего богатства. Она была способна оставить свою честную компаньонку в полном – насколько возможно – одиночестве с этим богатством и не задавать никаких вопросов, она даже могла с трудом вытерпеть навязанный ей отчет; однако это богатство крылось в прелестных складках ее беззащитно дорогого маленького черного платья, которым она сейчас, уходя, рассеянно мела по траве; богатство светилось в забавных и великолепных завитках волос, с «укладкой», сделанной, невзирая на *mode du jour*³, выглядывавших из-под столь же равнодушной к моде шляпки: то была всего лишь дань личной традиции, предполагавшей что-то вроде благородной незелегантности; богатство таилось меж страниц таухницевского тома, с пока еще не разрезанными страницами, но уже вышедшего из моды, который Милли перед отъездом машинально для себя приобрела. Она не могла ни скинуть богатство с себя, словно платье, ни отбросить во время прогулки, как смятый цветок, ни убрать на дальнюю полку, будто ненужную книгу; не могла ни выбросить его из головы, ни, с улыбкой, забыть о нем; даже в дремотном забытьи не могла она выдохнуть его прочь с тихим сонным дыханием. Она не могла утратить его, даже если бы попыталась, – вот что значило быть по-настоящему богатой. Твое богатство *есть то*, что *ты есть*, и ничем иным быть не может. Когда миновал час, а Милли в дом не возвратилась, миссис Стрингем, хотя солнечный день был еще юн, осторожно двинулась в том же направлении, чтобы присоединиться к приятельнице, если та

³ Мода дня (фр.).

захочет продлить прогулку. Однако цель присоединиться к ней была, по правде говоря, не столь отчетлива, как необходимость проявить уважение к желанию девушки побыть в одиночестве: так что опять-таки наша добрая дама продвигалась так скрытно, что ее попытки выглядели чуть ли не «коварством», даже в ее собственных глазах. Тем не менее ничего с этим поделать она не могла, да это ее и не заботило, ведь она была уверена, что на самом деле вовсе не хочет зайти слишком далеко и просто вовремя остановится. Она и ступала так тихо, чтобы иметь возможность вовремя остановиться, однако в этот раз ей пришлось зайти гораздо дальше, чем когда-либо, так как оказалось, что она тщетно идет по следам Милли; тем не менее наконец, с некоторым волнением, ей удалось выйти на тропу, по которой, как она полагала, та действительно проследовала. Тропа вилась все выше и выше по горному склону, выводя на верхние альпийские луга, где все эти последние дни они обе, проезжая выше или ниже, мечтали побродить, а затем тропа скрывалась в лесу и, поднимаясь все вверх и вверх, приводила наконец к очевидной цели – группке коричневых, высоко взобравшихся шале. Достигнув в должное время этих шале, миссис Стрингем получила от старой, растерянной женщины, такой уродливой, что страшно было смотреть, указания, вполне достаточные для того, чтобы ими руководствоваться. Молодую даму незадолго до этого видели на тропе, она прошла дальше, миновав хребет, к тому месту, где дорога снова, резко и почти устрашающе падает вниз, в чем наша неуспокоенная исследовательница через четверть часа смогла убедиться на практике. Куда-то все же она вела, но, по-видимому, прямо в пустое пространство, ибо с того места, где Сюзан остановилась, казалось, что огромный склон горы просто пропадает где-то внизу, хотя, вероятнее всего, тропа должна была привести к какому-то невидимому выходу внизу. Однако растерянность миссис Стрингем не была долгой, так как она вдруг заметила на недалеком обломке скалы присутствие таухницевского тома, взятого с собою Милли, и поэтому ясно указывавшего, что она не очень давно здесь проходила. Девушка отделалась от книги, несомненно представлявшей неудобство в пути, и, конечно, намеревалась забрать ее, направляясь обратно; но поскольку она ее еще не забрала, то что же такое, в конце концов, с нею случилось? Поспешу добавить, что через несколько минут миссис Стрингем предстояло увидеть то, чего она, по чистой случайности, до тех пор не увидела; ее подвело глубокое внутреннее беспокойство, и она не заметила собственной близости к цели.

Все это место, с резко спускающейся вниз тропой и с ее продолжением – не менее крутым поворотом, скрытым обломками скал и кустами, казалось, падало в бездну, становясь при этом «видом», чистым и простым; видом невероятной протяженности и красоты, но заброшенным далеко вперед, на головокружительную глубину. Милли, соблазненная тем, что обещал ей этот вид сверху, спускалась вниз, не останавливаясь, пока он весь не открылся перед нею; и там, над бездной, как показалось ее приятельнице – на головокружительном краю, она удобно и невозмутимо сидела. Тропа каким-то образом сама позаботилась о себе и о своей конечной задаче, но сиденьем для девушки служила каменная плита на конце небольшого остроконечного выступа или скального нароста, словно палец указывающего направо, в воздушные глубины, и – к счастью или к чему-то гораздо худшему – совершенно открытого взору. Ибо миссис Стрингем с трудом подавила крик, увидев, что Милли уселась на самом краю пропасти, – как опасно, а ведь она всего-навсего юная девочка! Она же может оскользнуться, съехать, сорваться, низвергнуться от одного резкого движения, от поворота головы – кто может сказать от чего? – в ту неизвестность, что внизу. Тысяча мыслей в одно мгновение пронеслись в голове бедной дамы, вызывая у нее в ушах грохот, не достигавший, однако, слуха Милли. Такая суета принудила нашу наблюдательницу застыть на месте и затаить дыхание. То, что прежде всего пришло ей в голову, была возможность тайного намерения Милли – какой бы дикой ни казалась сама идея – в этой ее позе, выдававшей соответствие с ее капризом, с ее ужасающим затаенным желанием... Но поскольку миссис Стрингем стояла так неподвижно и безмолвно, будто единственный звук, единственный слог должен

был положить начало роковому действию, истечение даже нескольких секунд отчасти возымело успокоительный эффект. Это дало Сюзан возможность получить впечатление, которому, когда она несколько минут спустя бесшумно двинулась назад по своим собственным следам, предстояло оказаться самым острым среди тех, что она вынесла из путешествия. А впечатление было такое, что, если девочка, сидя там, глубоко и бесстрашно погрузилась в размышления, это не могли быть размышления о прыжке в бездну; совсем наоборот: она сидела там в таком приподнятом состоянии духа, сознавая безграничное владение миром, что насильственное действие никак не могло бы принести пользу. Милли смотрела сверху вниз на царства земли, и хотя это зрелище могло само по себе действительно ударить в голову, она смотрела на них вовсе не с целью от них отказаться. Выбирала ли она какие-то из них или желала их все? Этот вопрос, прежде чем миссис Стрингем решила, как ей следует поступить, сделал все остальные вопросы напрасными, в соответствии с тем, что она увидела, или полагала, что увидела; и потому если было опасно окликнуть девушку или вслух каким-то образом выразить свое удивление, то, вероятно, безопаснее всего было бы удалиться так же, как она пришла. Она понаблюдала еще, не очень долго, по-прежнему затаив дыхание, а потом так никогда и не узнала, сколько времени прошло.

Вероятно, не так уж много минут, но казалось, что прошло их немало, и они дали Сюзан столько пищи для размышлений – не только пока она, еле передвигая ноги, брела домой, но и пока ждала Милли в гостинице и была занята ими даже тогда, когда перед самым вечером та наконец появилась. Она остановилась-таки на тропе, там, где лежал таухницевский том, взяла его и карандашиком, что висел на цепочке для часов, нацарапала на обложке: «*A bientôt!*»⁴, тогда как, несмотря на затянувшееся отсутствие девушки, миссис Стрингем отмеряла время, уже не позволяя себе тревожиться. Ибо она теперь поняла, что величайшим впечатлением, какое она вынесла из недавней прогулки, была абсолютная уверенность в том, что будущему ее принцессы не грозит резкий или упрощенный уход от человеческого удела в какой бы то ни было форме. Оно не поставит перед нею вопроса о долгом, словно полет, прыжке вниз и тем самым о быстром избавлении от земной юдоли. Это будет вопрос о встрече лицом к лицу с любыми атаками жизни, чьему пристальному обзору и было, вероятно, предъявлено лицо Милли, когда девушка сидела на той скале. В итоге миссис Стрингем оказалась способной сказать себе, во время другого, довольно длительного ожидания Милли, что если ее юная подруга по-прежнему продолжает долго отсутствовать, то вовсе не оттого – какой бы предлог та ни приводила, – что она, Сюзан, слишком укоротила поводок. Она не совершит самоубийства, ибо безошибочно понимает, что ей предопределен более сложный уход: о том говорил ее вид, в каком Сюзан, чуть ли не с благоговейным страхом, ее обнаружила. Этот образ, не оставлявший старшую даму, сохранял характер откровения. В те минуты, что она наблюдала затаив дыхание, она увидела свою спутницу новым взглядом: самый тип девушки, ее внешность, ее черты, история ее жизни, ее красота, ее состояние, ее тайна – все это, не сознавая того, открыло себя альпийскому воздуху, а затем было впитано вновь, чтобы дать пищу огню, пылавшему в груди миссис Стрингем. Все эти вещи еще станут более очевидными для нас, а пока мы можем судить о них по тому, что энтузиазм нашей старшей приятельницы оказался гораздо сильнее любых ее сомнений. Такое осознание происходящего было для Сюзан не совсем привычным, но у нее появилось ощущение, что под ее ногами раскрылась шахта, полная сокровищ. Ей казалось, она стоит перед входом, не совсем еще расчищенным. Шахта требовала дальнейшей разработки и тогда, разумеется, отдаст сокровища. Однако Сюзан вовсе не думала о золоте Милли.

⁴ «До скорого!» (*фр.*)

II

Когда Милли возвратилась, она ничего не сказала о словах, нацарапанных на таухницевском томе, но миссис Стрингем заметила, что книги с ней нет. Девушка оставила ее лежать на обломке скалы и может вообще больше никогда не вспомнить о ней. Естественно, ее подруга быстро приняла решение никогда не упоминать о том, что последовала за ней, и через пять минут после ее возвращения чудесным образом озабоченность, вызванная ее забывчивостью, снова заявила о себе.

– Вы не сочтете меня совсем гадкой, если я скажу, что в конце концов...?

Миссис Стрингем сразу же, при первых звуках этого вопроса, подумала обо всем, о чем способна была подумать, и ответила жестом согласия, чем прервала речь Милли и вызвала выражение облегчения на ее лице.

– Вам не нравится, что мы здесь остановились? Тогда мы отправимся в путь с первыми проблесками завтрашней зари или так рано, как вам захочется; просто сейчас уже поздно отправляться в дорогу. – И Сюзан улыбнулась, показывая этой шуткой свое понимание того, что на самом деле девушка хотела бы отправиться в путь немедленно. – Я тираню вас, заставляя здесь задержаться, так что сама виновата.

Милли обычно прекрасно реагировала на шутки старшей подруги, но на этот раз она восприняла ее чуть рассеянно.

– О да, – откликнулась она, – вы и правда меня тираниите...

Так что они договорились, без всяких дискуссий, что на следующее утро продолжат свое путешествие. Интерес младшей из туристок к деталям путешествия, несмотря на то что старшая заявила о своей готовности отправиться, куда бы ее ни потащили, очень скоро как-то вовсе угас; однако она обещала до ужина придумать, куда, раз перед ними лежит весь мир, они могли бы отправиться; а ужин был заказан на такое время, какое позволяло зажечь свечи. Они обе заранее договорились, что зажженные свечи в придорожных гостиницах чужих стран, в окружении горных пейзажей, придают вечерней трапезе особую поэтичность, – в этом и состояли те небольшие приключения, те изысканные впечатления, ради которых, как сказали бы обе путешественницы, они и приехали сюда. Теперь же случилось так, будто Милли, перед этим пиршеством, запланировала «полежать», однако прошло не более трех минут, как она уже не лежала, вместо этого она заговорила, и такой внезапный переход был подобен перескоку на четыре тысячи миль назад:

– Что такое сказал вам доктор Финч в Нью-Йорке девятого числа, когда вы виделись с ним без меня?

Миссис Стрингем только позже вполне осознала, почему этот вопрос напугал ее больше, чем его объяснимая внезапность, хотя эффект от произошедшего оказался в первый момент таков, что испуг чуть не заставил ее солгать в ответ. Ей необходимо было подумать, вспомнить ту встречу, то «девятое» в Нью-Йорке, тот раз, что она обратилась к доктору Финчу наедине, припомнить слова, что он тогда произнес; а когда все это вновь пришло ей на память, на миг – в самом начале – показалось, что он сказал нечто невероятно важное. Однако на самом деле он ничего подобного не сказал. Это случилось шестого, за десять дней до их отплытия: Сюзан бросилась в Нью-Йорк из Бостона в тревоге, в не очень сильном, но вполне достаточном шоке, получив известие, что Милли внезапно заболела и, расстроенная по какой-то неизвестной причине, готова отложить их путешествие. Вскоре выяснилось, что неожиданное заболевание переносится легко, и, хотя в ходе его было несколько часов, вызвавших беспокойство, врачи снова заявили, что путешествие не только возможно, поскольку предоставляет необходимую перемену обстановки, но настоятельно рекомендуется, и если горячо преданная больной гостья получила пять минут наедине с доктором, это

случилось скорее благодаря ее усилиям, а не его. Ровным счетом ничего не было ими сказано друг другу, кроме легкого обмена восхищенными мнениями о лечебных свойствах «Европы» и должных заверений и ободрений, и поскольку эти факты ей припомнились, Сюзан стала способна изложить их Милли.

– Абсолютно ничего такого – даю вам честное слово, – чего вы можете не знать или чего могли не знать тогда. У меня нет с доктором секретов от вас. Что заставило вас вдруг заподозрить такое? И я не пойму, как это вам удалось узнать, что я виделась с ним наедине?

– Нет, сами вы никогда мне о том не говорили, – сказала Милли. – И я имею в виду, – продолжила она, – не те двадцать четыре часа, когда мне было по-настоящему плохо, когда ваша беседа с глазу на глаз была бы совершенно естественна, а то время, когда мне стало лучше, – то, что вы сделали прямо перед отъездом домой.

Миссис Стрингем продолжала допытываться:

– Кто же тогда сказал вам, что я с ним виделась?

– Да нет, сам он мне ничего не говорил. А вы даже потом не написали мне об этом. Мы теперь говорим с вами об этом впервые. Именно поэтому! – объявила Милли, и что-то в ее лице и голосе в следующий момент подсказало ее старшей подруге, что Милли на самом деле ничего не знала, что она только предполагала, но ее выстрел наугад попал в цель. И все же – почему ее мысли занимал такой вопрос? – Но если вы не вошли к нему в доверие, – улыбнулась девушка, – то все это не имеет значения.

– Я не вошла к нему в доверие: ему нечего было мне доверить. Но что такое? Вы не очень хорошо себя чувствуете?

Старшая из женщин искренне добивалась правды, хотя вероятность того, о чем она спрашивала, вряд ли казалась реальной, свидетельство чему – долгое восхождение, недавно с удовольствием совершенное Милли. Лицо девушки всегда оставалось бледным, однако ее друзья научились не принимать это во внимание, тем более что оно часто оказывалось самым живым и светлым, если, на поверхностный взгляд, не самым прекрасным. Милли некоторое время продолжала загадочно улыбаться.

– Я не знаю, по правде говоря, не имею ни малейшего представления. Но было бы неплохо выяснить.

В ответ на это сочувствие миссис Стрингем вспыхнуло ярким пламенем.

– Вас что-то беспокоит? Болит что-нибудь?

– Ни в малейшей, самой крохотной степени. Но иногда я хотела бы знать...

– Да, знать – что именно? – настаивала наперсница.

– Много ли я успею получить.

Миссис Стрингем пристально смотрела на нее:

– Получить много – чего? Ведь не боли же?

– Всего. Всего – от того, что у меня есть.

И снова, обеспокоенно, осторожно, наша приятельница продолжала допытываться:

– У вас ведь есть всё, так что, когда вы задаете вопрос, «много ли я успею получить»...?

– Я только хочу знать, – прервала ее Милли, – долго ли я смогу этим пользоваться? То есть если я все это получу.

В результате Милли привела в полнейшее недоумение или, по меньшей мере, совсем запутала свою подругу, которая была растрогана – всегда бывала растрогана – какой-то беспомощностью, сквозившей в грациозности девушки, в угловатости ее движений, тем не менее как бы полужамечая в ее глазах что-то вроде насмешливых огоньков.

– Если вы получите какой-то недуг?

– Если я получу *всё!* – Милли рассмеялась.

– Ах *вот что* – как почти никто другой.

– Тогда – как надолго?

Глаза миссис Стрингем молили ее, она подошла к девушке поближе, обняла ее настойчивыми руками.

– Вам хочется кого-то повидать? – А потом, поскольку Милли в ответ лишь медленно покачала головой, предложила, теперь выглядя несколько более сознающей, о чем речь: – Мы сразу обратимся к самому лучшему из докторов, живущих поблизости. – Но предложение тоже было встречено всего лишь долгим задумчивым взглядом безусловного согласия и молчанием, приятным и рассеянным; это оставило все вопросы открытыми. Наша приятельница решительно утратила самообладание. – Скажите же мне, ради бога, если вам что-то причиняет страдания.

– Я не думаю, что у меня и правда есть всё, – сказала Милли, как бы в качестве объяснения и как бы желая высказать это по-прежнему приятно.

– Но что, ради всего святого, могла бы я для вас сделать?

Милли обдумывала вопрос и, казалось, уже готова была что-то сказать в ответ, но вдруг передумала и выразилась иначе:

– Дорогая, дорогая моя, я просто... просто очень счастлива!

Это их сблизило, но одновременно подтвердило сомнения миссис Стрингем.

– Тогда в чем же дело?

– В том-то и дело. Я едва могу это вынести.

– Но чего же, по вашему мнению, вы так и не получили?

Милли подождала еще с минуту и вдруг нашлась с ответом, да к тому же нашла силы, чтобы выказать при этом хотя бы смутную радость:

– Энергии противостоять счастью от того, что получила.

Миссис Стрингем восприняла это во всей полноте: с ощущением, что таким ответом от нее «отделяются», с возможно – вероятно – скрытой в нем иронией, и ее нежность нашла себе новое выражение в мрачном вопрошании вполголоса:

– Кого вы хотите повидать? – ибо казалось, что со своей высоты они взирают на целый континент докторов. – Куда вы желаете отправиться первым делом?

На лице Милли опять возникло выражение глубокого раздумья, но она вернулась из него с той же просьбой, что и несколько минут тому назад.

– Я скажу вам за ужином, а до тех пор – прощайте.

И она выпорхнула из комнаты с легкостью, какая для ее компаньонки стала свидетельством чего-то такого, что доставило ей особое удовольствие возобновлением обещания двигаться дальше. Странный эпизод завершился, и миссис Стрингем снова задумалась, сидя с крючком и клубком шелка, с «тонкой» работой, которая всегда оказывалась у нее под рукой, создавая настроение таинственности, и была, несомненно, изобретена в результате длительной остановки, пришедшейся так не по душе Милли. Надо было только понять и принять то, что жалобы девушки являлись фактически всего лишь избытком наслаждения жизнью, и все вновь вставало на надлежащее место. Девочка не могла останавливаться в поисках радости, но могла ради этого продолжать движение, и, с биением ритма ее движения вперед, она снова плыла в возвращенных ей беспредельных воздушных пространствах. И не было никакого стремления уклониться от истины – так, во всяком случае, надеялась Сюзан Стрингем – в том, что она сидела вот так, в углубляющихся сумерках, еще более тонко чувствуя, что положение ее юной леди просто великолепно. К вечеру на такой высоте, естественно, похолодало, но наши путешественницы заранее договорились о разожженном к их ужину камине; великая альпийская дорога подтверждала свое бесстрашное присутствие сквозь небольшие чистые стекла низких окон, эпизодами у дверей гостиницы – желтым дилижансом, огромными фургонами, закрытыми частными экипажами, напоминавшими нашей приятельнице, обладающей богатым воображением, о бегствах, побегах, преследованиях, о событиях, случившихся давным-давно, – о событиях, какие своей странной совместимостью с настоящим

помогали ей отыскать невероятно интересные смыслы во взаимоотношениях, так глубоко ее затрагивавших. Естественно, что заключение о великолепном положении ее спутницы должно было поразить Сюзан как, в общем-то, наилучший смысл, какой только она способна была извлечь, ведь и сама она обрела свое место в этом великолепии, словно в придворной карете, – тут мысли ее вернулись к ней самой, и такой метод последовательных рассуждений, такой взгляд с темно-красных подушек мог, очевидно, дать ей гораздо больше, чем любой другой. К тому времени, когда были зажжены свечи к ужину и задернуты короткие белые занавески, Милли успела вновь появиться, и небольшая живописная комната приобрела ожидаемую романтичность. Это романтическое очарование не было нарушено даже теми словами, какие она произнесла, не потеряв ни минуты времени и удовлетворив наконец свою терпеливую спутницу:

– Я хочу отправиться прямо в Лондон.

Заявление прозвучало неожиданно, оно не совпадало ни с одним из намерений, высказанных при отъезде; когда возник разговор об Англии, ее как бы отложили про запас, «на потом»: в тот момент на нее смотрели как, можно сказать, на конечный объект приготовления и знакомств. Короче говоря, Лондон, скорее всего, долженствовал как бы увенчать путешествие короной, войти в него можно было лишь последовательными подходами, словно в результате осады. Поэтому теперешний прекрасный шаг Милли выглядел более волнующим и радостным, так как миссис Стрингем почти всегда радовалась любому упрощению; кроме того, она позднее вспоминала это как эпизод той самой «экспозиции», милой сердцу любого драматурга, во время которой звучали слова, какими, при коптящих свечах, юная леди объясняла свой выбор, и происходили всякие другие вещи – происходили под клацанье фургонных цепей в резко похолодевшем воздухе, под перестук копыт, достигавший слуха наших дам; слышалось дребезжание ведер и чужестранные вопросы и чужестранные ответы – все это в равной степени было частью бодрящего дорожного разговора. Милли, по правде говоря, высказала свое пожелание так, словно сделала великое признание, какое считала для себя недостаточно скромным, и опасалась, что из-за него может показаться легкомысленной. Ее обуревала идея, что то, чего она хочет от Европы, – это «люди», насколько возможно их обрести; это, если ее подруга действительно хочет знать, и был призрак той туманной величины, что преследовал ее все предыдущие дни в музеях, соборах, да еще осквернял для нее чистый вкус альпийских пейзажей. Конечно, она всегда за пейзажи, но ей хочется, чтобы пейзаж был очеловеченным и личным, и все, что она может сказать, – это что в Лондоне – правда ведь? – такого будет гораздо больше, чем где бы то ни было еще. Она снова вернулась к мысли о том, что все *для нее* – не надолго, если ничего не случится, чтобы это изменить: тогда ведь то, что она теперь предлагает, вероятно, сможет дать ей более всего за время, что ей отведено, и, вероятно, окажется менее, чем что-нибудь другое, напрасной тратой драгоценного остатка. Она представила это последнее соображение так весело, что миссис Стрингем уже не пришла из-за него в замешательство, наоборот, она была теперь готова – если речь пойдет о ранней смерти – парировать ее примером из собственного будущего. Ну хорошо, раз так; они станут есть и пить за то, что может случиться завтра; и с этой минуты они выберут такой курс, чтобы вот так есть и пить в дальнейшем. В тот вечер они ели и пили действительно в духе их обоюдного решения, в силу чего, к моменту их расставания, чувствовалось, что атмосфера очистилась.

Атмосфера очистилась, возможно, лишь на весьма широкий взгляд – то есть широкий по сравнению с чертами жизни, представавшей перед ними. Идея о «людях», так занимавшая Милли, не была связана с конкретными лицами, и каждая из дам создавала, что они сойдут с корабля в Дувре, никого не зная и никому не известные, вместе с ничего не знающими людьми. У обеих не было ни с кем заранее сложившихся отношений: этот вопрос-мольбу миссис Стрингем высказала, чтобы посмотреть, какую реакцию он вызовет; однако пона-

чалу он не вызвал ничего, кроме замечания девушки, что у нее в голове и мысли не было об обществе, тем более о том, чтобы «наскрести» какие-то знакомства; ничего не последовало от нее и дальше, кроме желания испробовать возможности, представленные соотечественнику вообще целым сундуком «писем». Короче говоря, дело было вовсе не в людях, о которых мечтала соотечественница; дело было в человеческой, английской картине как таковой, которую они могли бы увидеть совершенно по-своему – увидеть конкретный мир, знакомый и любимый, возникший из прочитанных книг, – мир, о каком лишь мечталось. Миссис Стрингем вполне отдавала должное этому конкретному миру, но когда, несколько позднее, ей представлялся удобный случай, она не упускала возможности заметить, что было бы значительно комфортнее заранее познакомиться с одной или двумя человеческими частицами этой конкретной субстанции. Тем не менее даже таким способом не удалось, вульгарно выражаясь, «завести» Милли, с тем чтобы она тут же пустилась выполнять совет своей наперсницы.

– Кстати говоря, разве я не верно поняла вас, когда вы сказали, что дали мистеру Деншеру что-то вроде обещания?

После этих слов наступил момент, когда взгляд Милли, по-видимому, выражал одну из двух возможностей: то ли она лишь смутно помнила об обещании, то ли само имя мистера Деншера ничего ей не говорило. Но ведь на самом деле она не могла лишь смутно помнить об обещании, ничем этого не объясняя, быстро сообразила собеседница Милли; должно быть, обещание было дано определенному лицу, чтобы от него так резко отреклись. В конечном результате Милли, естественно, признала мистера Мертона Деншера, того необычайно «блестящего» молодого англичанина, что появился в Нью-Йорке в связи с каким-то литературным заданием – не так ли? – незадолго до их отъезда и раза три-четыре посетил Милли у нее дома в краткий период между поездкой в Бостон и последовавшим за тем пребыванием у нее ее теперешней собеседницы; однако потребовалось множество напоминаний, прежде чем девушка припомнила, что она вскользь говорила этой самой собеседнице, сразу же после заявления персонажа, о котором у них теперь идет речь, что он абсолютно уверен: Милли никогда не совершит столь ужасающего поступка, как посещение Лондона, без того, чтобы заранее, как теперь говорят, отыскать себе подходящего «кавалера». Она оставила его наслаждаться собственной уверенностью, форма выражения которой могла показаться чуть слишком фривольной, – это она снова подтвердила; она не сделала ничего ни для того, чтобы ухудшить такое впечатление, ни чтобы его улучшить; тем не менее она так же оставила миссис Стрингем – в этой связи и в это время – в глубоком сожалении о пропущенных встречах с мистером Деншером. Она ведь снова вспоминала о нем после того, наша старшая из двух дам, к тому же она успела заметить, что Милли, казалось, вовсе о нем не вспоминает, а ведь наивная девочка могла бы легко выдать себя, если это было не так; и интересующаяся всем, что касалось Милли, Сюзан приняла про себя решение – исключительно про себя и довольно равнодушно, – что, для разнообразия, с молодым англичанином можно было бы свести знакомство поближе. То, что он вообще оказался их знакомцем, было одной из тех знаменательных черт, какие в первые дни помогли Милли – юной девушке с открывшимся перед нею миром – стать объектом удивленного и сочувственного интереса. Одинокая, осиротевшая, незащищенная, однако обладающая другими знаками силы – большим домом, большим состоянием, большой свободой, она несколько позже стала принимать у себя, несмотря на свои юные годы, как могла бы принимать у себя женщина в зрелом возрасте, точно так, как поступали принцессы, соблюдавшие свои обязанности перед обществом и потому рано повзрослевшие. Если миссис Стрингем удалось до этих пор выяснить, что мистер Деншер уехал из Нью-Йорка куда-то еще, в связи со своим заданием, перед ее собственным приездом к Милли, ей оказалось теперь не так уж трудно узнать, что он снова приезжал на пару дней, как раз во время ее второй экскурсии в Бостон, то есть что он в итоге опять появился один раз, по пути на Запад; как она полагала, заезжал он из Вашингтона, хотя исчез с глаз

дой, когда она вернулась, чтобы сопутствовать Милли, отъезжавшей в Европу. Раньше миссис Стрингем и в голову не приходило что бы то ни было преувеличивать, не приходило в голову даже, что она на это способна; но ей показалось, что в тот вечер она узнала в этом отношении достаточно такого, что могло отвечать порожденной ее новым знанием концепции, естественной концепции, что здесь кроется нечто большее.

Очень скоро она высказала уверенность, что в любом случае, было там дано обещание или не было, Милли может, находясь в Лондоне, на худой конец, воспользоваться его разрешением подать ему весточку, на что Милли с готовностью ответила, что такая возможность, хотя и вполне очевидная, тем не менее может быть использована напрасно, поскольку этот джентльмен наверняка еще пребывает в Америке. Ему нужно сделать там очень многое, а он вряд ли успел даже начать; сама же она и не подумала бы отправиться в Лондон, если бы не была уверена, что он не собирается в ближайшее время туда возвращаться. Ее компаньонка тотчас же заметила, что в тот же момент, как наша молодая женщина вот так выдала себя, она осознала, что преступила предел открытости, чего никак не могли исправить ее незамедлительно последовавшие слова, сказанные, вероятно, из-за некоторой утраты присутствия духа, что самое последнее, чего она в жизни желает, – это выглядеть так, будто она за мистером Деншером «бегает». Миссис Стрингем втайне задумалась, почему вообще зашла речь о возможности так выглядеть, о столь неожиданной опасности; однако она пока ничего по этому поводу не сказала, заговорив о других вещах: заявив, в частности, что раз мистера Деншера нет, значит его нет, и всё тут; а сами они должны любой ценой вести себя предельно осмотрительно. Но какова мера такой осмотрительности и как быть уверенными в ее правильности? Так и получилось, что, пока они так сидели, миссис Стрингем представила свой собственный случай: у нее самой оказалась вероятная связь с Лондоном, от которой она так же мало желала отказаться, как и рискнуть навязываться. Короче говоря, она завершила их совместный вечер, угостив свою молодую спутницу рассказом о Мод Маннингем, странной, но интересной английской девочке, с которой у нее в школьные дни в Вевее сложилась особая близость, духовное родство; она писала ей после того, как они расстались, с регулярностью, которая сначала понемногу ослабевала, а затем переписка прекратилась совсем, хотя в то время это был превосходный случай незрелой привязанности; так что она затеплилась вновь сама собой, когда обе они вышли замуж. Они стали снова тепло и аккуратно переписываться – начало этому положила миссис Лоудер; затем они обменялись еще двумя-тремя письмами. И тут наступил конец, хотя разрыва не произошло, только мягкий спад: Мод Маннингем, полагала Сюзан, весьма удачно вышла замуж, тогда как ей самой повезло меньше, а помимо этого, и более всего, расстояние и различия, ослабевшая духовная близость и невозможность встретиться вновь довершили разобщение. И только недавно, после всех прошедших лет, встреча стала казаться возможной, то есть если вторая ее участница еще существует. Именно это теперь представлялось нашей приятельнице интересным выяснить, и она надеялась, что с помощью того или другого ей удастся это сделать. Это будет эксперимент, который она во что бы то ни стало теперь проведет, если Милли не против.

Милли вообще никогда не возражала против чего бы то ни было и, хотя она задала пару-тройку вопросов, не привела и сейчас никаких доводов против. Вопросы девушки или, во всяком случае, собственные ответы на них миссис Стрингем разбередили в этой последней мысли о прошлом, целую их вереницу: до сегодняшнего вечера она не знала, сколько она помнит или – хорошо ли будет увидеть, что случилось с крупной и яркой Мод, цветущей, экзотичной чужестранкой, которая – даже в юношеском восприятии, – казалось, ее просто околдовала. Существовала опасность – Сюзан откровенно коснулась этого, – что такой темперамент с годами мог не достичь зрелости, в смысле тонкости и изящества: восстанавливая отношения после долгого перерыва, тебе всегда приходится смотреть такой опасности в лицо. Подбирать выбившиеся нити – всегда риск, но она, Сюзан, готова пойти на этот риск,

если готова Милли. Возможность «позабавиться», призналась она, уже сама по себе соблазнительна; и в ее словах звучали – ведь она была несколько возбуждена – нотки оправдания такой забавы, как безобидного права, обретенного по завершении пятидесяти лет строгой новоанглийской добропорядочности. Среди более поздних воспоминаний миссис Стрингем перед нею вставал совершенно неопиcуемый взгляд, в тот момент брошенный на нее ее собеседницей; она по-прежнему сидела при свечах, перед завершенным ужином, а Милли беспокойно ходила по комнате: взгляд ее долго оставался для Сюзан непостижимым комментарием к ее понятию свободы. Как бы там ни было, приглашенная произнести последнее мудрое суждение, Милли проявила свое отношение, по-видимому, раздумчиво и очаровательно, сказав, что, хотя ее внимание было в основном беззвучным, рассказ ее приятельницы – предъявленный в качестве вероятного шанса непредвиденно, словно игральная карта из рукава, – показался ей наполовину поразительным, а наполовину – соблазнительным. И раз все дело – в том состоянии, как оно находилось теперь, – зависело от этого, она легко и свободно обронила, прежде чем отправиться спать: «Рискуйте всем, чем угодно!»

Такое качество ее ответа, казалось, некоторым образом отрицало весомость вызванного, словно дух из небытия, присутствия Мод Лоудер – это Сюзан Стрингем, все еще сидевшая за столом, взволнованная и погруженная в раздумье, вдруг осознала чуть более ясно. Когда Милли покинула ее, в ней стало происходить нечто, определяющее ее дальнейшую жизнь, безмянное, но ставшее, как только она дала волю этому процессу, неотвратимым. Было так, будто она снова поняла, в полноте протекшего времени, что она, после замужества Мод, прожила свою жизнь ощутимо неудачнее, что ее «пере-жили», или, как теперь говорят, «обставили». Миссис Лоудер оставила ее позади, и по этому случаю, в ту же фазу собственной жизни Сюзан, – не второй жизни, печальной, несшей на себе достоинство печали, а первой, с постной скудостью ее предполагаемой верности, – ее стали, в том же духе, чуть ли не покровительственно, снисходительно жалеть. Если такое подозрение, даже утратив свое значение, никогда в ней до конца не увядало, то, несомненно, в ее предложении восстановить это звено в цепочке, а не порвать ее заново была какая-то странность, и, действительно, могло быть вполне вероятно, что у Сюзан возникло настроение, при котором развившееся в ее бывшей соученице представление о покровительстве могло бы решить ее – Сюзан – проблему в совершенно ином смысле. Проблема уже была фактически решена – если этот случай вообще достоин разбора – счастливым ее завершением, поэтической справедливостью, щедрым реваншем, поскольку теперь у Сюзан Стрингем – наконец-то! – было что показать. После прекращения переписки Мод, по-видимому, уже обладала столь многим, что теперь – ведь разве не таков вообще великолепный закон английской жизни? – наверняка должна, со всеми приращениями, продвижениями, расширениями, реально иметь много больше. Очень хорошо; такие вещи вполне могут иметь место; миссис Стрингем в состоянии справиться со своими чувствами и быть к этому готовой. Что бы миссис Лоудер ни захотела продемонстрировать – ты всегда можешь надеяться, что твои предположения справедливы, – у нее не окажется ничего, подобного Милли Тил, представлявшей теперь трофей, который вполне могла предъявить ей бедняжка Сюзан. Бедняжка Сюзан медлила еще довольно долго – свечи почти догорели, и, как только со стола было убрано, она открыла свой аккуратный футлярчик. Она не потеряла старого ключа, в памяти хранились старые связи, адреса, какие она могла попытаться использовать, так что важно было лишь начать. Она сразу же принялась писать.

Книга четвертая

I

После этого все пошло с такой быстротой, что Милли не произнесла ничего, кроме правды, лежавшей прямо под рукой, сказав джентльмену, сидевшему справа от нее, который к тому же был джентльменом, сидевшим слева от хозяйки, что она даже сейчас едва понимает, где находится: ее слова обозначили первое полное осознание ею ситуации, оказавшейся поистине романтической. Они уже сидели за обедом – Милли и ее приятельница – в доме на Ланкастер-Гейт, в окружении, как ей казалось, абсолютно английских аксессуаров, хотя ее восприятие существования миссис Лоудер и, еще более, необычайной личности этой женщины возникло так недавно и так неожиданно. Сюзи, как она стала теперь называть, для некоторого разнообразия, свою компаньонку, пришлось всего-навсего взмахнуть разок аккуратной маленькой палочкой, чтобы тотчас же началась волшебная сказка, в результате чего Сюзи теперь ярко заблестала: ведь с только что обретенным чувством своего успеха миссис Стрингем обрела и этот блеск – в роли волшебницы-крестной. Милли чуть ли не настояла на том, чтобы одеть ее – для сегодняшнего визита – именно как волшебницу-крестную; и вовсе не вина девушки, что наша добрая дама явилась на обед не в остроконечной шапочке, коротенькой пышной юбочке и башмачках с алмазными пряжками, размахивая волшебным посохом. По правде говоря, наша добрая дама и так держалась с не меньшим удовлетворением, чем если бы все эти знаки отличия на ней действительно красовались, знаменуя ее работу; и замечание Милли, обращенное к лорду Марку, несомненно, явилось результатом столь легкого обмена взглядами с миссис Стрингем, что они смогли преодолеть даже невероятную длину стола. Между нашими двумя дамами находились еще двадцать человек, но этот взаимно-поддерживающий обмен взглядами стал острейшим продолжением того, другого *сопоставления* взглядов, произошедшего во время остановки на швейцарском перевале. Милли почти готова была решить, что Фортуна слишком для них поторопилась, что они вроде бы отважились на небольшую шутку, а в результате получили на нее непропорционально серьезный ответ. В этот момент, например, она не могла бы сказать – притом что ее восприятия ускорились, – стала ли она теперь более весела или более подавлена; и это могло бы оказаться действительно серьезным осложнением, если бы она, к счастью, не успела принять решение, как только забрезжила впереди эта картина, что в конечном счете более всего ей важно лишь то, что она ничего не ищет и ни от чего не бежит, что ей не следует даже слишком многому удивляться и задавать слишком много вопросов; надо дать событиям идти своим ходом, поскольку сомнений в том, каков будет их ход, действительно мало.

Лорд Марк явился к Милли перед обедом, его привела не миссис Лоудер, а привлекательная девушка, племянница этой дамы; она сидела теперь у другого конца стола, с той же стороны, что и Сюзи; лорд Марк привез Милли на Ланкастер-Гейт, и она собиралась расспросить его о мисс Крой, той самой привлекательной девушке, что была практически прислана ей на показ – впрочем, теперь в совершенно великолепном виде, но уже во второй раз. Первый же раз, всего тремя днями раньше, имел место по случаю ее с тетушкой визита к обеим нашим героиням, и тогда Кейт произвела на них огромное впечатление своей красотой и возвышенностью души. У Милли это впечатление не изменилось и теперь, и, хотя ее внимание в то же время откликалось и на все остальное, глаза ее главным образом были заняты Кейт Крой, если только не были заняты Сюзи. Более того, глаза этого замечательного создания с готовностью отвечали на ее – Милли – взгляд: теперь мисс Крой встала

в ряд замечательных созданий, и Милли представлялось, что это – часть молниеносного успеха гостей из Америки, что, вопреки первоначальным расчетам, ей нужно будет проявить готовность осознать – мило, откровенно осознать возможности, даримые им дружбой. Милли, в качестве гостыи, легко и грациозно сделала обобщение: английские девушки обладают особой, строгой красотой, особенно ярко видной в вечернем наряде и особенно – вот ведь что поразительно! – как в случае с этой девушкой, когда вечерний наряд именно таков, каким должен быть. Это замечание она целиком приготовила для лорда Марка, когда, через некоторое время, об этом сможет зайти речь. Казалось, она уже сейчас видела, что у них будет много такого, о чем сможет зайти речь: явно занятая своим другим соседом, хозяйка часто оставляла их двоих без своего внимания. Другим же соседом миссис Лоудер был епископ Маррамский – настоящий епископ, каких Милли никогда в жизни не видела, в ужасно сложном костюме, с голосом, звучавшим как старинный духовой инструмент, и с лицом, словно взятым с портрета какого-нибудь прелата; тогда как джентльмен слева от нашей юной леди, джентльмен грузный, толстошей и, видимо, полностью лишенный воображения, смотрел прямо перед собой и, словно не желая, чтобы его отвлекали пустыми словесами от намеченной цели, явно рассчитывал, в качестве вознаграждения, завладеть лордом Марком. Разобравшись во всем этом – она даже почувствовала что-то вроде радостного возбуждения оттого, что так быстро «попала в струю», – Милли увидела, как оправданны были и ее мольба о людях, и ее любовь к жизни. В тот момент не казалось затруднительным – хотя виды на будущее, как представлялось, говорили об обратном – прямо войти в поток или, во всяком случае, постоять на берегу. Оказалось совсем легко подойти поближе – если они действительно подошли, – и все же окружавшие ее стихии теперь сильно отличались от всех ее старых, давно знакомых стихий, и были они по-настоящему яркими и необычными.

Она спрашивала себя, поймет ли ее сосед справа, что она хочет сказать таким описанием присутствующих, если бы ей вдруг пришло в голову выпустить свои впечатления на волю; но еще одно соображение, пробудившееся в ней, подсказало, что – нет, решительно нет, не поймет. Тем не менее к этому времени ей уже открылось, что его линией поведения станет стремление быть умным; и действительно, по-видимому, немалый интерес можно будет найти как в новых взглядах и новом влиянии людей умных, так и в человеческом простодушии. Милли трепетала, сознавая, что щеки ее пылают и тут же снова становятся бледными от уверенности, присутствия которой она прежде никогда так четко не ощущала, что она может считать себя полностью вовлеченной, включенной в жизнь: самая атмосфера этого дома, уровень приема вызвали в ней одновременно словно бы ясное звучание колокола и глубокие полутона скрытых смыслов. Малейшие мелочи, лица, руки, драгоценности женщин, звучание слов, особенно – имен, доносившихся с противоположной стороны стола, форма вилок, аранжировка цветов, поведение слуг, стены комнаты – все было штрихами картины и символами играемой пьесы; и более того, они знаменовали для Милли живость ее собственного восприятия. Она прямо-таки уверилась, что никогда прежде не приходилось ей испытывать столь сильные вибрации: ее чувствительность оказалась слишком обострена – это почти лишало ее равновесия, например, ей виделось слишком много такого в манере поведения дружелюбной племянницы, показавшейся ей выдающейся и необычайно интересной девушкой, что она никак не могла свести воедино, но что делало новую знакомую поразительно добросердечной и близкой. Разумеется, у молодых женщин этого типа всегда есть масса других возможностей, однако здесь, движимые собственным вольным стремлением, они уже определили в общих чертах свои отношения. Суждено ли им, мисс Крой и ей, подхватить и продолжить повествование с того места, где их предки когда-то его оборвали? – суждено ли им понять, что они пришли по душе друг другу, и попытаться выяснить, не сработает ли программа верности в более современных условиях? Когда они приехали в Англию, Милли сомневалась в возможностях Мод Маннингем, полагала, что та – человек

ненадежный и, как тростник под ветром, опора сомнительная, считала их зависимость от этой дамы – поскольку это все же *была* зависимость – постыдно глупым состоянием ума, если бы они захотели сделать что-то столь бессмысленное, как «войти в общество». Совершить такое паломничество всего лишь ради того общества, какое могло храниться для них в резерве у миссис Лоудер, – да стоило ли вообще об этом задумываться? – ведь она сама уже решила интересоваться чем-то иным, проявлять любопытство к совсем другим предметам. Она объяснила бы это любопытство желанием увидеть те места в Англии, о которых она читала, и такое объяснение своих побудительных мотивов она готова была изложить своему соседу справа, даже несмотря на то, что в результате он мог бы обнаружить, как мало она на самом деле читала. Сейчас ситуация была такова, будто ее дурное предвидение с возмущением опровергается самой величественностью происходящего – менее выпяченного определения она не смогла подобрать, – либо, во всяком случае, оно опровергалось захватывающим вниманием характером двух главных присутствующих фигур (она и их не могла определить иначе). Миссис Лоудер и ее племянница, какими бы непохожими друг на друга они ни выглядели, имели хотя бы то общее, что каждая из них была великолепной реальностью. Это прежде всего относилось к тетке, настолько, что Милли поражалась, как ее компаньонке в былые годы удалось достичь с этой необыкновенной подругой общности интересов; тем не менее она чувствовала, что миссис Лоудер – личность, которую можно объять умом примерно за два-три дня. Во всяком случае, она останется массивной и неподвижной, пока ваш ум будет совершать свое кружение, тогда как мисс Крой, эта привлекательная девушка, позволит себе удовольствие непредсказуемо двигаться в любых направлениях, мешая обзору. Мисс Крой оказалась занятным, угрожающе неподдающимся явлением – не менее того, и все остальные люди и предметы здесь были таким же явлением; и несомненно, обе паломницы получили по заслугам: нечего было с такой готовностью ввязываться в эту авантюру.

Однако интеллект лорда Марка, как оказалось, вполне соответствовал интеллекту Милли, что дало ему возможность растолковать девушке, как мало он способен прояснить ей сложившуюся ситуацию. Он, кстати говоря, объяснил ей – или, по крайней мере, намекнул, – что теперь в Лондоне просто невозможно сказать, кто где находится. Все и каждый находятся везде – и никого нигде нет. Ему было бы ужасно трудно – да-да, если честно – обозначить каким-либо именем или названием «круг» их хозяйки. *Да был ли* это вообще «круг» или нет и существует ли теперь здесь нечто подобное таким вещам, как круг? – существует ли теперь что-то, кроме движения наугад и ощупью, подобного заблудившимся огромным серым грязным морским валам посреди Канала, движения целых масс растерянных людей, стремящихся «раздобыть» неизвестно что неизвестно где?

Он бросил Милли этот вопрос, показавшийся ей огромным; она чувствовала, что к концу пятиминутного разговора их было брошено ей великое множество, хотя лорд Марк продвинулся вперед всего лишь на шаг или два; возможно, он все же окажется способен дать ей пищу для размышлений, но пока что он не помог ей ни в чем разобраться: он говорил так, будто, слишком много зная, давно утратил всякую надежду на это общество. Таким образом, он занимал позицию на противоположном краю по сравнению с нею самой, но в результате, как и она, блуждал и терялся, и, более того, вопреки его временной бессвязности, ключ к которой, как она догадывалась, несомненно, отыщется, лорд Марк был столь же твердо сложившейся частицей конкретной субстанции, что миссис Лоудер и Кейт Крой. Единственным пятном света, брошенным на первую из этих двух дам, были его слова, что она – необычайная женщина, совершенно необычайная женщина, и «чем больше ее узнаешь, тем необычайнее она оказывается»; тогда как о второй он в тот момент заметил только, что она ужасно – да-да, совершенно ужасно – хороша собой. Милли подумала, что требуется некоторое время, чтобы разглядеть ум сквозь манеру его речи, и тем не менее с каждой минутой она все более принимала на веру это необъяснимое явление, независимо от

того, что говорила ей о нем миссис Лоудер, впервые упомянув его имя. Вероятно, здесь был один из тех случаев, о которых она слышала дома, в Америке, – характерный для Англии случай, когда люди скрывают игру ума гораздо охотнее, чем выставляют ее напоказ. Так, правда довольно редко, поступал и мистер Деншер. Но что же делало лорда Марка таким в любом случае реальным, если это был трюк, которым он явно так искусно владел? Каким-то образом эта личина – по жизни, по необходимости, по собственной целенаправленности – снимала с него самую всякую заботу о яркости: ее одной хватало с избытком. Трудно было определить его возраст: то ли он был молодой человек, но выглядел пожилым, то ли – пожилой, но выглядел молодым; ничего не доказывало и то, что плюс ко всему у него была лысина и он как бы несколько зачерствел или, если выразиться более деликатно, скорее, усох; в нем чувствовалась этакая тонкая, чуть заметная суетливая живость человека занятого, а глаза его моментами (хотя это выражение из них могло неожиданно исчезнуть) бывали так искренни и чисты, как глаза милого мальчика. Очень опрятный, очень легкий, очень светловолосый, настолько, что усы его становились заметны лишь потому, что он то и дело их касался – опять-таки совершенно мальчишеским жестом, – лорд Марк произвел бы на Милли впечатление человека самого интеллектуального, если бы не показался самым несерьезным. Это качество виделось ей скорее в его взгляде, чем в чем-либо ином, хотя он постоянно носил пенсне, что придавало ему задумчиво-бостонский вид.

Мысль о его недостаточной серьезности была, несомненно, связана с титулом при его фамилии, который представлял – для нашей юной, слегка запутавшейся женщины – связь с историческим патрициатом, аристократией, с классом, который, в свою очередь, – тут тоже некоторая путаница – имел родовое сходство с той частью общества, которую никогда, на ее слуху, не называли иначе, как «высший свет». Высшая часть нью-йоркского общества всегда понимала, что причислена к этой категории, и хотя Милли сознавала, что в применении к земельной и политической аристократии это название слишком упрощено, другого на тот момент у нее просто не нашлось. Правда, она вскоре обогатила свою идею пониманием, что ее собеседник – человек равнодушный; однако это печальной известности равнодушие, свойственное аристократии, мало что могло ей объяснить, так как она чувствовала, что лорд Марк прежде всего думает продолжить с нею знакомство, а помимо того, мысли его заняты множеством собственных проблем. Если он, с одной стороны, не спускает с нее мысленного взора, а с другой – размышляет о столь многом – доказательством тому служила его манера крошить хлеб, – зачем же он рисуется перед нею, как готовый на дерзость аристократ? Милли не способна была ответить на этот вопрос, а он как раз был одним из тех, что ее теперь обуревали. Она, по справедливости, могла бы сказать, что вопросы эти весьма сложные, а ведь ее собеседник явно знал – знал заранее, что она чужестранка, американка, и тем не менее не придавал этому ни малейшего значения, будто Милли и ей подобные были для него главным блюдом его каждодневной диеты. Он воспринял ее по-доброму, но невозмутимо и непоправимо, как нечто само собою разумеющееся, и ей нисколько не могло помочь то, что она быстро поняла – он успел побывать в ее стране и в ней разобраться. Милли не оставалось ничего такого, что она могла бы объяснить, смягчить или – чем похвастать; не могла она ни укрыться за своей чужестранностью, ни использовать ее как преимущество: у него самого, кстати говоря, окажется гораздо больше, о чем рассказать ей на эту тему, чем узнать от нее. Она могла бы узнать от него, почему она так отличается от той привлекательной девушки: она этого не знала, способна была только чувствовать разницу; во всяком случае, она могла бы у него узнать, почему эта привлекательная девушка так отличается от нее самой.

Именно по этим рельсам им предстояло двигаться дальше, по рельсам, тут же – несмотря на его неопределенность – проложенным лордом Марком ради собственного удобства и вполне определенным образом. Она ведь уже задумывается над тем, заметил он ей, что ей нужно будет сказать там, у себя, по другую сторону океана, – американцы вечно так

поступают. А ей, по совести говоря, даже произносить ничего не надо; только ведь американцы никогда этого не понимают и никогда не поймут – бедняги! – да-да («бедняг!» встала она сама), никогда не поймут, чего делать не надо. Какие ноши взваливают они себе на плечи, из чего, в самом деле, создают себе проблемы! Эта легкая и, в общем-то, дружеская насмешка над ее соотечественниками стала для Милли ноткой личного узнавания со стороны ее нового знакомого – в той мере, в какой оно ей требовалось; и она тут же, вполне сознавая, что делает, показала ему пример ужасного беспокойства, объяснив, что ее желание быть «приятной во всех отношениях» продиктовано тем, какой приятный прием устроила ей в Лондоне миссис Лоудер. Лорд Марк проявил к этому сообщению явный интерес, и лишь позднее Милли поняла, насколько больше информации об их общей приятельнице он получил, чем выдал. Вот и еще один пример характерной черты: Милли сразу же, при первом погружении в темные глубины издавна сложившегося общества, столкнулась с интереснейшим феноменом сложных, а возможно, и зловещих мотивов. Тем не менее Мод Маннингем (это ее имя почему-то по-прежнему давало пищу фантазии, даже в ее присутствии) действительно *была* с путешественницами приятно любезна, и следовало отвечать ей с тою же любезностью, с какой встретила их она. Она оказалась у них в отеле чуть ли не прежде того, как, по их предположениям, могла получить их письмо. Само собою разумеется, что они написали заранее, но ведь они очень скоро последовали за письмом. Она сразу же пригласила их на обед, имевший быть через два дня, а на следующее утро, не дожидаясь ответного визита, вообще ничего не дожидаясь, она заехала к ним снова вместе с племянницей. Все происходило так, будто она и правда к ним расположилась; это было великолепное проявление верности – ее верности миссис Стрингем, которая теперь была компаньонкой Милли, а когда-то – школьной подругой миссис Лоудер: вон она, сидит в конце стола, эта дама с прелестным лицом, в довольно ярком платье.

Лорд Марк, сквозь стекла пенсне, воспринял взвешенно описанные черты Сюзи.

– Но разве верность миссис Стрингем не столь же великолепна?

– Да, это прекрасное чувство, но ведь у нее нет ничего, что она могла бы отдать в дар.

– Разве у нее нет вас? – спросил лорд Марк, не слишком долго помедлив.

– Меня? Отдать в дар миссис Лоудер? – Милли явно еще не приходилось смотреть на себя как на возможное приношение. – Ох, я не такой уж хороший подарок и при этом пока еще не чувствую, чтобы меня уже успели принести в дар.

– Вас успели показать, и если наша с вами приятельница за вас сразу же ухватилась, все сводится к одному и тому же. – Он пошучивал, этот лорд Марк, как бы совершенно безучастно, собственные шутки его не забавляли, но он вовсе не был мрачен. – Если вас увидят – вам придется это признать, – это будет означать, что за вас тотчас ухватятся; а если встает вопрос о том, чтобы вас показать, – ну и все то же и так же, все сначала. Только сейчас все это уже не находится в руках вашей подруги: выгоду теперь получает миссис Лоудер. Оглядите стол, и вы убедитесь, я полагаю, что за вас ухватились *все* – с одного конца стола до другого.

– Ну что ж, – ответила Милли, – у меня, кажется, возникает чувство, что мне это нравится больше, чем когда надо мной смеются.

Только потом Милли поняла – Милли всегда было свойственно понимать некоторые вещи потом, – что у ее нового знакомого имелся какой-то собственный способ, отличный от всех остальных, уверить ее в своем полном и уважительном внимании к ней. Ей очень хотелось бы знать, как у него это получается, – ведь он никогда не извинялся и ни в чем ее не заверял. Во всяком случае, Милли говорила себе, что ему удалось ее провести, и самым странным в этом был вопрос, который помог ему это сделать.

– Много ли ей о вас известно?

– Да нет, просто мы ей понравились.

Даже на это его светлость, человек, много путешествовавший, опытный и самоуверенный, не рассмеялся.

– Я имел в виду вас лично. Много ли эта дама с прелестным лицом, а оно и правда прелестно, ей о вас рассказала?

Милли задумалась.

– О чем рассказала?

– Обо всем.

Его ответ и то, как он обронил его, снова ее взволновали, заставили на миг почувствовать, что, как и следовало предполагать, от нее ждут откровений. Однако она быстро нашлась с ответом:

– О, что до этого, то вам лучше спросить у нее самой.

– У вашей умной компаньонки?

– У миссис Лоудер.

На это он ответил, что их хозяйка – человек, с которым некоторые вольности совершенно непозволительны, но что он тем не менее чувствует ее поддержку, так как она по большей части бывает к нему добра, и, если он некоторое время будет вести себя очень хорошо, она, вероятно, сама ему все скажет.

– Во всяком случае, мне тем временем будет интересно посмотреть, что она с вами делает. И это даст мне понять, как много она знает.

Милли слушала со вниманием: тут все было ясно, но подразумевалось что-то еще.

– А что она знает о *вас*?

– Ничего, – серьезно ответил лорд Марк. – Но это не имеет значения... для того, что она со мной делает. – А затем, словно предвосхищая ее вопрос о характере таких действий: – Ну вот, к примеру, – прямо подталкивает меня к *вам*.

Девушка немного подумала.

– Вы хотите сказать, она бы так не поступала, если бы знала...

Он встретил это так, будто в вопросе действительно крылся какой-то смысл:

– Нет. Я полагаю, отдавая ей должное, она все равно поступала бы так же. Так что можете быть спокойны и вести себя свободно...

Милли тут же воспользовалась его разрешением:

– Потому что, даже в наихудшем виде, вы – лучшее, что у нее есть?

Это его наконец-то развлекло.

– Был, пока не явились вы. Теперь вы – самое лучшее.

Станным было то, что по его речам Милли должна была почувствовать, что он *знает*; именно так они на нее и подействовали – настолько, что заставили ее, хотя и не без удивления, в это поверить. И именно этому, с самой первой их встречи, суждено было прочнее всего остаться в ее памяти: она приняла его знание, почти не сопротивляясь – тем самым сдавшись на милость неминуемого, – поскольку, как лорд Марк мог бы сказать, с чисто практической точки зрения это вещь такого рода, какие не раз встречались ему в его странствиях; во всяком случае, он твердо в это верил. Более того, ее смирение несколько не ослабело, когда, позднее, она узнала, что с краткими интервалами и как раз, видимо, перед тем, как Милли предстояло возникнуть из безвестности ранней юности, лорд Марк нанес три отдельных визита в Нью-Йорк, где у него оказалось много именитых друзей и самых противоречивых связей. Его впечатления, его воспоминания об этом смешанном обществе, действия которого невозможно предугадать, были явно все еще очень ярки. Это помогло ему поместить Милли в определенный круг, и она все острее и острее осознавала, но лишь после того, как дверь за нею захлопнулась и рука проводника поднялась, давая сигнал поезду отправляться, что ее втолкнули в купе, где ей придется путешествовать ради своего нового знакомого. Такое использование себя, несомненно, тотчас же вызвало бы негодование множества девушек; но

склад ума нашей юной леди, позволивший ей лишь смотреть и воспринимать, есть одна из самых привлекательных сторон нашей героини. Милли практически только что узнала от лорда Марка, успела, между прочим, в своем гроыхающем купе понять, что он отвел ей самое высокое место среди их друзей, если говорить о присущих им качествах. Она имела успех, вот к чему все свелось, как он очень скоро ее заверил, и вот что такое – иметь успех: это всегда случается раньше, чем ты узнаешь об этом. Собственное незнание часто – самая великолепная часть успеха.

– У вас пока еще не было времени, – сказал он. – То, что сейчас происходит, – ничтожно. Но вы сами увидите. Вы увидите всё. Вы *сможете*, знаете ли, – вы увидите всё, о чем мечтаете.

Он удивлял ее все больше и больше: ощущение было почти такое, будто он, говоря, вызывал перед нею видения; и странным образом, хотя эти видения манили ее за собой, они оказывались вне всякой связи – то есть вне такой предварительной и естественной связи – с таким лицом, как лицо лорда Марка, с такими, как у него, глазами, с таким голосом, тоном, с такой манерой вести себя. На какой-то момент он повлиял на нее так, что заставил ее подумать, да не собирается ли она испугаться? – столь отчетливы секунд пятьдесят были ее видения, что Милли окатила волна страха. Вот они все, тут опять – да, разумеется: пробный шар Сюзи, брошенный в миссис Лоудер, был их шуткой, но они, веселясь, задели кнопку электрического звонка, он продолжает звучать. В самом деле, сидя там, она не переставала слышать в собственных ушах его дребезжание и в такие минуты поражалась, что другие его не слышат. Они не поднимали вопрошающих взглядов, не улыбались; ее страх, о котором я говорю, был вызван ее желанием, чтобы это прекратилось. Однако звук понемногу затих, будто сама тревога улеглась; казалось, Милли разглядела быстрым, пусть и не слишком пристальным оком, что у нее есть два пути: один – первым делом утром покинуть Лондон, другой – вообще ничего не делать. Ну что ж, она не будет вообще ничего делать; она именно это сейчас и делает, более того, она это уже сделала и упустила свой шанс. Она отреклась от себя – тут же, на месте, у нее возникло поразительное чувство, что она решается так сделать; ведь она уже совершила самый трудный поворот, прежде чем путешествовать дальше с лордом Марком. Не очень экспрессивно, но с глубочайшим вниманием – как не мог бы никто другой – он встретил тот ее вопрос, который она неожиданно задала миссис Стрингем на перевале Брюниг: если она получила все – что бы это ни было, – таков был ее вопрос, – то надолго ли?

– Ах, ну, возможно, и не надолго, – таким оказался ответ ее соседа по столу, – потому что, разве вы не понимаете? *Я – это выход.*

Было очевидно, что такое возможно, несмотря на полное отсутствие в нем эффектности: выход и виделся именно в этом отсутствии. Привлекательная девушка, которую Милли не выпускала из виду, поразительная племянница миссис Лоудер, тоже, как она заметила, то и дело взглядывавшая на нее, вероятно, могла бы стать выходом, так же как и он, ведь и в ней отсутствовала эффектность, хотя, насколько можно было судить, между нею и лордом Марком, помимо этого, было мало общего. И все-таки что же действительно можно сказать, как понять, к какому предварительному заключению прийти, кроме того, что они каким-то образом оказались вместе в том, что они представляют? Кейт Крой, утонченная, но дружественная, смотрела на Милли через стол так, будто и правда догадывалась, как влияет на нее лорд Марк. Если она и правда догадывалась о его влиянии, что она знала об этом и в какой степени успела это влияние испытать? Не означает ли это существования меж ними чего-то особенного, не следует ли ей счесть, что они совместно, двумя своими интеллектами, усиливают вдвое те отношения, в которые она теперь погружается? Самым странным казалось ей то, что ей удается так быстро, каждым секундным взглядом распознать разнообразные признаки неких отношений; такая аномалия сама по себе, если бы Милли уделила ей больше

времени, могла бы чуть ли не пугающе подсказать ей, что она обречена торопиться жить. Это была проблема краткости времени и, соответственно, перегруженного сознания.

Таковы оказались безграничные экскурсы духа нашей молодой особы всего-то на званом обеде миссис Лоудер; но что могло быть более значительным и предостерегающим, чем самый факт такой возможности? Чем иным могли быть эти экскурсы, как не частью работы – уже в тот момент – перегруженного сознания? И это действительно было лишь частью работы, как и то, что в это время менялись тарелки, подавались новые блюда, отмечались очередные этапы банкета; приличия требовали, феномены умножались, то с одной стороны, то с другой до нее доносились слова всплесками медленно наплывающего мощного прилива; миссис Лоудер почему-то становилась все более полной и еще более основательной, а Сюзи, на таком расстоянии и по сравнению, выглядела более тонко импровизированной и совсем иной, то есть отличающейся здесь от всех и вся; было всего лишь частью то, что, пока весь процесс шел вперед, наша юная леди сошла с поезда, возвратилась и взяла в руки свою судьбу, словно была способна одним-двумя взмахами крыльев ненадолго поместиться так, чтобы увидеть этой судьбе альтернативу, и судьба предстала перед ней совершенно в том образе и в том месте, где она ее оставила. Образ оказался ее образом в ореоле успеха – ведь лорд Марк заявил, что она имеет успех. Разумеется, это более или менее зависело от его понимания таких вещей, во что она, однако, сейчас вдаваться не собиралась. Но, вскоре вернувшись к разговору, она спросила его, что он тогда имел в виду, говоря о том, что миссис Лоудер станет с ней делать, и он ответил, что об этом можно не беспокоиться.

– Она получит назад, – приятным тоном сообщил он, – свои деньги. – Он мог и такие вещи произносить – что тоже было уникально, – не звуча при этом ни вульгарно, ни «ядовито»; и скоро объяснился, добавив: – Здесь у нас, знаете ли, никто ничего не делает задаром.

– О, если вы это имели в виду, мы вознаградим ее такой высокой мерой, какой только сможем, ничего нет легче. Но ведь она – идеалистка, – продолжила Милли, – а идеалисты, я думаю, в конечном счете *не ощущают* таких потерь.

Казалось, лорд Марк, в пределах собственного энтузиазма, нашел это очаровательным.

– Ах, она представляется вам идеалисткой?

– Она идеализирует *нас*, мою подругу и меня, абсолютно. Она видит нас в розовом свете, – сказала Милли. – Это единственное, за что я могу ухватиться. Так что не лишайте меня этого.

– Ни за что на свете. Такое мне и в голову бы не пришло. Но неужели вы полагаете... – продолжал он так, будто это вдруг стало для него важно, – неужели вы полагаете, что она и меня видит в розовом свете?

На некоторое время она оставила его вопрос без ответа, отчасти потому, что ее внимание все более и более отвлекалось на привлекательную девушку, отчасти потому, что, сидя так близко от миссис Лоудер, Милли не хотела показать ей, что они запросто ее обсуждают. А миссис Лоудер, надо сказать, прокладывала свой курс в другой стороне, обращаясь к разным особам так, словно они – островки в архипелаге, в целом предоставляя им чувствовать себя свободно, тогда как Кейт Крой все время проявляла себя как человек заинтересованный. И вдруг Милли тоже почувствовала себя свободно – она обрела свободу, решив, что миссис Лоудер на самом деле устроила все это, чтобы получить доклад о ее качествах и, так сказать, о ее ценности от лорда Марка. Она не желала, эта замечательная дама, чтобы у него был повод не знать, что он думает о мисс Тил. Почему его суждение было ей так важно – в этом еще оставалось разобраться; однако именно это озарение сейчас определило ее ответ.

– Нет. Вас она знает. У нее есть, видимо, свои резоны. И все вы здесь друг друга знаете – я это вижу, – насколько вы вообще что-нибудь знаете. Вы знаете то, к чему привыкли, и то, к чему вы привыкли – именно оно, и только оно, – вас и создает. Но существуют вещи, которых вы не знаете.

Он воспринял это так, будто ее слова могли оказаться справедливыми, будто они могли попасть в точку.

– Вещи, которых я не... При всех моих стараниях и путешествиях по всему миру, принятых ради того, чтобы не осталось такого, чего бы я не узнал?

Милли задумалась, и, вероятно, правдивость его претензии, которой нельзя было пренебречь, усилила ее раздражение и – соответственно – остроту ума.

– Вы – человек пресыщенный, но не просвещенный. Вам все знакомо, но вы реально ничего не осознаёте. Я хочу этим сказать, что вы лишены воображения.

Выслушав это, лорд Марк откинул назад голову, устремив глаза на противоположную стену комнаты, и наконец-то всем своим видом показал, что это его ужасно развлекло, чем привлек внимание хозяйки. Однако миссис Лоудер только улыбнулась Милли в знак того, что от нее и ждали чего-то пикантного, и, с всплеском гребного винта, возобновила свой круиз меж островками.

– Ох! – воскликнул молодой человек. – Это я уже слышал раньше!

– Вот в том-то и дело. Вы всё уже слышали раньше. Вы и *меня*, разумеется, слышали раньше, там, в моей стране, и достаточно часто.

– О, далеко не достаточно, – возразил он. – Но очень надеюсь, что буду слышать вас снова и снова.

– Но что в этом хорошего? Какую пользу это вам принесло? – продолжала девушка, теперь как бы откровенно его забавляя.

– Это вы сами увидите, когда узнаете меня получше.

– Но я совершенно уверена, что никогда вас не узнаю.

– Тогда в этом-то и будет вся польза, – рассмеялся он.

Если их беседа тем самым определила, что они не смогут или не захотят общаться, почему же у Милли все это время было такое чувство, что между ними как-то ненормально быстро устанавливаются отношения, вопреки ее желанию ей предназначенные? К каким более странным последствиям может привести их необщение, чем разговор, который произошёл между ними, – разговор почти интимный? Ей хотелось уйти подальше от лорда Марка или, вернее, от себя самой, раз она вся была у него на виду. Она уже поняла – в конце концов, она ведь тоже была созданием замечательным, – что впоследствии его будет гораздо больше, он станет приходить за нею и особой чертой их общения для нее станет держаться так, чтобы о ней самой не заходило и речи. Все, что угодно, могло бы войти в их отношения, но только не это; построив же отношения таким образом, они, вероятно, сумеют даже сохранить их надолго. Начать можно было бы прямо тут же, на месте, вернувшись к теме привлекательной девушки. Если сама она намерена исключить себя, то лучше всего это сделать, включив кого-то другого. Естественно было включить Кейт Крой: Милли до некоторой степени готова была в случае необходимости пожертвовать ею, потому что несколько за нее не боялась. Сам лорд Марк, кстати говоря, облегчил ей задачу, сказав, чуть раньше, что здесь у них никто ничего даром не делает.

– Ради чего же тогда, – спросила Милли, сознавая неожиданность собственного вопроса, – мисс Крой проявляет такой интерес? Что она может выиграть своим милым гостеприимством? Взгляните на нее *сейчас!* – воскликнула вдруг Милли, с обычной для нее готовностью хвалить; однако тут же остановилась с покаянным «Ох!», так как их взоры в указанном ею направлении совпали с тем, что Кейт повернулась к ним лицом. Милли намеревалась всего лишь утверждать, что это лицо прекрасно; но единственное, чего она добилась, – это возобновившегося у обладательницы прекрасного лица впечатления, что она – Милли – объединилась с лордом Марком, чтобы поинтереснее это лицо обсудить.

Тот, однако же, не замедлил с ответом:

– Как – что выиграть? Знакомство с вами.

– Да что *ей* в знакомстве со мною? Ее влечет ко мне всего лишь жалость, вот почему она так мила: она уже была готова взять на себя труд проявить сочувствие. Это – возвышенность природы, вершина для человека незаинтересованного.

В словах Милли содержалось гораздо больше, чем было сказано, но лорду Марку понадобилась всего минута, чтобы сделать свой выбор:

– Ах, тогда сам я – нигде, так как, боюсь признаться, я не испытываю к вам жалости, ни в коей мере, – заявил он. Потом спросил: – Как же тогда вы воспринимаете ваш успех?

– Ну как же – в силу той же величайшей причины. Просто потому, что наша приятельница там, в конце стола, сознает, что ей жаль меня. Она понимает, – объяснила Милли, – она лучше любого из вас. Она прекрасна.

Казалось, его наконец-то затронули ее слова – смысл, который девушка в них вкладывала; она вернулась к этой теме даже после того, как оба они были отвлечены новым блюдом, поставленным между ними.

– Она прекрасна своим характером – понимаю, – сказал он. – Но так ли это? Вы должны рассказать мне о ней.

Милли удивилась:

– Да разве вы не знаете ее дольше, чем я? Разве вы сами ее не разглядели?

– Нет. С ней я потерпел полный провал. Ничего не выходит, я не могу в ней разобраться. Но, уверяю вас, я в самом деле этого очень хочу.

Его собеседница расслышала в этом заверении безусловно искренние ноты: казалось, он говорил о том, что реально чувствует; и она была тем более поражена этим, что все еще ощущала полное отсутствие хотя бы любопытства, проявленного по отношению к ней самой. Она имела кое-что в виду – хотя, на деле, почти только для себя одной, – говоря о естественном для их приятельницы чувстве сострадания; тут определенно крылась нотка сомнительного вкуса, но слова с трепетом вырвались наружу, вопреки ее желанию, и ее собеседнику не то чтобы очень уж хотелось задать вопрос: «Почему же оно естественное?» И для нее самой, разумеется, было бы гораздо лучше, чтобы такой вопрос не был задан: ведь объяснения могли, по правде говоря, завести ее слишком далеко. Только она теперь убедилась, что по сравнению со всем остальным ее слова об этой другой персоне способны «вывести из равновесия» ее собеседника: тут что-то крылось, и, вероятно, немало такого, о чем ей нужно будет узнать побольше, что уже проблескивало там как неотъемлемая часть более широкого «реального мира», куда ее, в этой новой ситуации, все более станут вовлекать. И фактически оказалось, что как раз в этот момент тот же самый элемент присутствовал в дальнейшей речи лорда Марка.

– Так что, видите, вы не правы, говоря о том, что мы знаем всё друг о друге. Бывают такие казусы, где мы терпим крах. Я, во всяком случае, от нее отказываюсь – то есть отказываюсь от нее в вашу пользу. Передаю ее вам – вы должны «сделать» ее для меня, я имею в виду – рассказать мне, когда вы узнаете больше. Заметьте, – милым тоном подчеркнул он, – я полностью вам доверяю.

– А почему бы вдруг нет? – осведомилась Милли, увидев в этом, как ей подумалось, удивительно претенциозную, но – для такого человека – недостаточно искусную бессмыслицу.

Тут словно бы возник новый вопрос – не фальшивит ли она сама ради того, чтобы показать себя, то есть не потерпела ли крах ее честность в попытке не поддаваться собственному желанию предстать в наилучшем свете перед лордом Марком? Тем не менее она не стала никак иначе возражать против его высказывания: ее занимало совсем другое. Она смотрела только на привлекательную девушку – представительницу той же породы и того же общества, что и он, которая заставила его почувствовать неуверенность; она думала о его абсолютной уверенности в том, что он знает все о молоденькой американочке, дешевенькой

«экзотичке» – таких ввозят чуть ли не оптом, – а их место обитания, тамошние климатические условия, растительный покров и возделывание земли, при невероятных просторах, но малом разнообразии и поверхностном развитии, ему известны, и он этим знанием вполне удовлетворен. Замечательно было еще и то, что Милли понимала его удовлетворенность; она чувствовала, что выскажет правду, тут же заявив:

– Конечно; я вижу – с ней должно быть трудно настолько же, насколько со мной, как я себе представляю, должно быть легко.

И именно это из всего события осталось у нее в памяти как самое интересное из всего, что могло остаться. Ее все более привлекала мысль быть легкой: она стала бы даже смиренной, если бы ей более прямо дали понять, что это нужно, чтобы сойти за дешевенькую экзотичку. Во всяком случае, на некоторое время это будет способствовать ее желанию поддерживать отношения с лордом Марком в состоянии неопределенности. Все новое общество произвело на Милли такое впечатление, что эти люди неизбежно хорошо знают друг друга, и если привлекательная девушка занимала среди них такое место, что даже их приобщенность к «кругу» ничего не могла тут поделать, что ж, тогда она действительно величина.

II

Такое восприятие величин, смешанных или отдельных, и в самом деле поначалу совершенно возобладавало над нашей, слегка задохнувшейся от неожиданности американской парочкой. Оно нашло выражение в их частом повторении друг другу слов о том, что им некого благодарить, кроме самих себя. Милли успела уже не раз обронить, что, если бы она заранее знала, как это окажется легко... Впрочем, ее возглас в большинстве случаев замирал без окончания. Как бы то ни было, миссис Стрингем эти слова казались пустяком, ее мало заботило, имела ли Милли в виду, что тогда она отправилась бы сюда раньше. Раньше она не смогла бы отправиться и, наоборот, вполне возможно, – это было бы очень на нее похоже – совсем не поехала бы; почему это оказалось так легко и в чем в любом случае было дело? – миссис Стрингем уже начала быстренько собирать мнения, но пока что держала свои прозрения при себе, поскольку в свободной интерпретации они могли бы показаться довольно тревожными. Вместе с тем величины, о которых мы говорили, то есть величины, наших двух дам окружавшие, во многих случаях были величинами вещными, а во многих других – другими, и обо всех них надо было потолковать. Соответственно, непосредственным выводом наших приятельниц был тот, что они подхвачены волной неизмеримой силы, поднявшей их на огромную высоту, и волна эта, естественно, швырнет их вниз в любом месте, где ей заблагорассудится. Тем временем, поспешим мы добавить, наши две дамы воспользовались своим рискованным положением как можно лучше, и если бы у Милли не было другой поддержки, она могла бы найти ее – и вполне достаточно, – видя, какой статус обрела здесь Сюзан Шеперд. Целых три дня девушка ничего не говорила ей о своем «успехе», о чем известил ее лорд Марк и о чем, кстати сказать, они могли судить и по другим проявлениям: она была слишком захвачена, слишком тронута возвышением и восторгами Сюзан. Сюзи вся светилась в сиянии своей оправдавшейся веры; произошло все то, что она, разумно рассуждая, вообще не считала возможным. Она рассчитывала на возможную деликатность Мод Маннингем – обратилась к деликатности, заметьте, лишь *едва* возможной, – и ее обращение было встречено так, что это делало честь всему человеческому роду. Это доказывало чувствительность хозяйки дома на Ланкастер-Гейт, со всею искренностью выраженную обеим нашим приятельницам в первые же дни их пребывания; она как бы рассеяла в воздухе перед ними тончайшую золотую пыль, тем самым набросив на перспективы гармонизирующую дымку. Цвета и формы за дымкой виделись глубокими и мощными – мы уже наблюдали, как ярко они выступали для Милли; но ничто не могло по истинному достоинству сравниться с

тем, насколько Мод оказалась верна своему сентиментальному чувству. Вот чем гордилась Сюзи, гораздо больше, чем высоким положением подруги в обществе, которое она все более осознавала, но еще не успела полностью измерить. Чувствительность Мод была даже более очевидна, чем то – в понятии более житейском и фактически чуть ли не на уровне откровения, – что она была *англичанка*, определенно и в полном смысле слова англичанка, почти лишенная внутреннего отклика, но зато с прекраснейшим внешним резонансом.

У Сюзан Шеперд было для Мод одно определение, и это слово она повторяла снова и снова: Мод была «велика»; однако это вроде бы не совсем относилось к ее душе или к гулким комнатам ее дома: ее скорее следовало уподобить объемистому вместилищу, поначалу, вероятно, слишком большому, неплотно заполненному, а теперь натянутому так туго, как только возможно, на накопленное в нем содержимое – представляющее для ее американской обожательницы плотно упакованную массу любопытных деталей. Когда наша добрая приятельница у себя на родине великодушно считала своих друзей «не мелкими» – а такими она считала их в большинстве случаев, – то более или менее подразумевалось, что они достаточно вместительны, ибо пусты. Миссис Лоудер подпадала под иное правило: она оказалась вместительна, так как была полна, так как в ней виделось что-то общее – даже в покое – с огромного размера снарядом, заряженным и готовым к использованию. И именно это, с романтической точки зрения Сюзи, определяло половину очарования возобновленных ими отношений – очарования, подобного тому, как если бы, во время длительного мира, они сидели весною на усеянном маргаритками травянистом берегу, у подножья огромной дремлющей крепости. Верная своему психологическому чутью, миссис Стрингем успела заметить, что «сентиментальное чувство», проявленное ее давней школьной подругой, которое так ее обрадовало, все выразилось в действии, в движении, за исключением тяжеловесно врывающихся в промежутки слов «дорогая моя», причем более часто, чем сама Сюзи решилась бы их использовать: они были просто частью богатого узора. Она с интересом размышляла об этом новом символе гонок, ощущая в себе самой совершенно иную настроенность. Радостью для нее было бы узнать, *зачем* Мод так действует, – причина была лишь половиной дела, поскольку у миссис Лоудер вообще могло не быть никакой причины: «почему» представлялось всего лишь банальной приправой, вроде ванили или мускатного ореха, чье отсутствие несколько не испортит питательных свойств пудинга. Было совершенно очевидно явное желание миссис Лоудер, чтобы две их молоденькие подопечные преуспевали вместе; а отчет миссис Стрингем, в первые дни пребывания в Лондоне, был о том, что когда она на званом обеде не рассказывала привлекательной племяннице хозяйки о Милли, она с интересом слушала рассказы этой выдающейся племянницы о ее собственной жизни.

В этом отношении у двух старших дам имелось много такого, что они могли дать друг другу и друг у друга взять, и нашей паломнице из Бостона было еще не вполне ясно, что то, что ей следует главным образом устроить в Лондоне, это вовсе не захватывающие события для себя самой. Ее теперь мучила совесть, чуть ли не сознание собственной аморальности, когда ей пришлось признать, что она увлеклась и позабыла все на свете. Она рассмеялась в лицо Милли, когда та тоже сказала ей, что не представляет, чем все это может закончиться; и главной причиной беспокойства Сюзи было то, что жизнь миссис Лоудер, с ее точки зрения, изобиловала стихиями, на которые ей приходится взирать впервые в жизни. Они представляли, как она полагала, целое общество, тот мир, который был холодно отвергнут отцами-пилигримами и в результате до сих пор так и не осмелился пересечь океан, чтобы посетить Бостон, – ведь это общество наверняка потопило бы самый большой и надежный кьюнардер, а она не могла бы даже притвориться, что спокойно отнесется к подобной перспективе просто потому, что Милли пришел в голову такой каприз. Она сама сейчас находилась под действием собственного каприза, направленного именно в сторону их теперешнего спектакля. Она поддерживала себя лишь мыслью о том, что никогда до сих пор ей в голову не приходил

ни один каприз, – или, если так случалось, она никогда раньше им не поддавалась, – что, собственно, сводилось к одному и тому же. А вот поддерживающее значение всего происходящего – тем более в буквально материальном смысле – совершенно исчезало из ее поля зрения. Ей надо подождать; во всяком случае, ей следует приглядеться: этот мир представлялся ей – в той мере, в какой она успела в него проникнуть, – огромным, непонятным, зловещим. Долгими бессонными ночами она размышляла над тем, что, по всей вероятности, готова полюбить его таким, каков он есть, а именно ради него самого и ради Милли. Странным казалось ей то, что она способна думать о любви Милли к этому обществу без ужаса, по крайней мере, она не страшилась мук совести, ее устраивал воцарившийся меж ними мир. Как бы там ни было, на сей час великим благом явилось то, что их душевные устремления слились воедино.

В то время как в первую неделю после званого обеда Сюзи продолжала упиваться успехом на Ланкастер-Гейт, ее спутница, не менее радостно и, казалось, в целом столь же романтично, была обеспечена приятным общением. Привлекательная английская девушка из большого английского дома, словно персонаж картины, по мановению волшебной палочки выступила из своей рамы; это было явление, которому миссис Стрингем тотчас же нашла художественный образ. Она нисколько не утратила хватку, совсем наоборот: она не отказалась от пышной метафоры, в силу которой Милли была для нее странствующей принцессой; тогда что же могло оказаться теперь в большей гармонии с этим, чем то, как у ворот города принцессу встречает и услуживает ей достойнейшая девица, избранная дочь виднейших его граждан? И опять-таки это была реальность, вполне очевидная для принцессы тоже, в самом удовольствии от встречи; ведь принцессы в большинстве своем существуют вполне умиротворенно в условиях одного лишь элегантного представительства. Вот почему у городских ворот они с радостью устремляются к делегированным девицам, устилающим им путь цветами; вот почему, после статуй, портретов, процессий и других королевских забав, принцессам так приятно искреннее человеческое общение. Кейт Крой по-настоящему представила себя Милли – та удостоила миссис Стрингем множеством описаний чудесной лондонской девушки собственной персоной (то есть такой, какой она давно представляла себе лондонскую девушку по рассказам путешественников, по нью-йоркским анекдотам, по давним заглядываниям в «Панч», по обширному чтению беллетристики того времени). Единственным отличием было то, что эта девушка оказалась приятнее, поскольку создание, о котором там шла речь, представлялось нашей юной женщине фигурой, вызывающей ужас. Милли думала о ней в наилучшем случае как о привлекательной девушке, какой Кейт как раз и была, обладающей такой манерой поворачивать голову, таким голосом и тоном, такой прекрасной фигурой и благородной осанкой, так умеющей «делать вид» и, если на то пошло, вовсе не делать вида – то есть особой, обладающей всеми характерными чертами порождения издавна сложившегося общества, которой в то же время предстояло стать героиней весьма выразительной истории. Милли с самого начала поместила эту поразительную особу в историю, разглядев в ней, по настоятельному требованию воображения, героиню; в ней одной почувствовала она характер, на который ей не придется растрчивать себя понапрасну, и это – вопреки приятной резковатости героини, ее сдержанности в выражении чувств, вопреки ее зонтикам и жакетам и туфелькам – какими все эти вещи рисовались в воображении Милли, – но разглядела она и что-то вроде беззаботного мальчишки в ее жестах и в свободном, хоть и нечастом, использовании жаргонных словечек.

Когда Милли пришла к выводу, что ее застенчивость в полной мере зависит от ее доброй воли, она смогла подобрать подходящий к случаю ключ, и две молодые девушки к этому времени установили прекрасные отношения. Это время вполне могло оказаться самым счастливым из всех, что им предстояло пережить вместе: они в дружелюбной независимости атаковали свой большой Лондон – Лондон магазинов и улиц и пригородов, странно интерес-

ных для Милли, столь же активно, как и Лондон музеев, памятников, «достопримечательностей», странно незнакомых для Кейт, тогда как их старшие наперсницы следовали своим отдельным курсом. Эти двое не меньше молодых радовались своей интимной отъединенности, причем каждая из них полагала, что молодая напарница другой – великолепное приобретение для ее собственной.

Милли не однажды говорила Сюзан Шеперд, что у Кейт имеется какая-то тайна, какая-то подавляемая тревога, помимо всей остальной ее истории; и если она так добросердечно помогает миссис Лоудер с ними встречаться, то определенно для того, чтобы создавать повод отвлечься, чтобы у нее было о чем еще заботиться. Однако покамест ничто не могло пролить свет на высказанное Милли предположение: она только чувствовала, что когда такой свет прольется, он значительно сгустит краски, и ей нравилось думать, что она готова ко всему. Более того, то, что ей было уже известно, на ее взгляд, давало ей полное представление об английском экстравагантном, поистине теккереевском характере: Кейт Крой постепенно становилась все более открытой, повествуя о своей жизни, о своем прошлом, о настоящем, о своем затруднительном положении вообще, о слишком малом до сего часа своем успехе в стараниях удовлетворить одновременно отца, сестру, тетку и саму себя. В голове у Милли родилась хитроумная догадка, которой она не преминула поделиться со своей Сюзан, а именно что у привлекательной девушки есть кто-то еще, пока не названный, кого тоже необходимо удовлетворить. Ведь совершенно же очевидно, что у такого привлекательного создания не может не быть кого-то: вполне вероятно, что это создание, если угодно, не так уж способно возбудить пылкие страсти, поскольку в таких случаях подразумевается наличие некоторой глупости, но, взирая на него, по сути, восхищенным взглядом дружбы, нельзя не видеть его ярко осененным интересом какого-то, возможно, весьма значимого мужчины. Во всяком случае, эта «яркая сень», каков бы ни был ее источник, нависала над приятельницей Милли целую неделю, и привлекательное лицо Кейт Крой улыбалось сквозь нее в сиянии потолочных окон, в присутствии старых мастеров, мирно застывших в свете собственной славы, а также новых, беспокойно ошетилившихся иголками и размахивающих щелкающими ножницами.

Между тем значительная часть общения наших юных леди была отмечена тем, что каждая из них полагала другую более замечательной, чем она сама; каждая считала себя или, по крайней мере, уверяла другую, что сама она – предмет довольно сухой и неинтересный, тогда как другая – любимица природы и Фортуны и потому сияет свежестью утра. Кейт забавляло, поражало то, как ее подруга не желает отказаться от создавшегося у нее «образа», тогда как Милли задавалась вопросом, искренна ли Кейт, считая ее созданием совершенно необычайным, да к тому же еще и самым очаровательным из всех, когда-либо ею встреченных. Они много разговаривали во время долгих поездок, и совсем нередко речь заходила о величинах исторических, а в этой сфере племянница миссис Лоудер на поверхностный взгляд, казалось, держала первенство в спорах. Американские примеры, при их оглушительной огромности, с ужасающе денежным Нью-Йорком, с их высокого накала волнениями, с преимуществами ничем не обузданной свободы, с их историей погибших родственников: родителей, умных, энергичных, красивых, стройных братьев – эти были особенно любимы, – все они, как и сменявшие друг друга последовавшие за ними попечители, предавались немыслимому расточительству и безудержным удовольствиям, что и оставило этому изысканному созданию ее черный наряд, ее бледное лицо и яркие волосы в качестве последнего, надломленного связующего звена. Такая картина тем не менее вполне укладывалась в силуэт краткой, но все же местами несколько расширенной биографии благородной представительницы среднего класса из Бейсуотера. И хотя, по правде говоря, вполне возможно, что это – чисто бейсуотерский способ выражать свои мысли – а Милли в этот момент была как раз на стадии проснувшегося интереса к обычаям Бейсуотера, – это мнение возобладало настолько, что

Кейт сумела убедить свою подругу согласиться с ее идеей (и идеей миссис Стрингем), что она, Милли, есть самое близкое подобие настоящей принцессы, какую когда-либо сможет увидеть Бейсуотер. Это был факт – это стало фактом, едва истекли три дня, – что Милли на самом деле начала вроде бы заимствовать у привлекательной девушки ее взгляд на свое состояние и общественное положение, тем более что впечатление привлекательной девушки было таким искренним. Впечатление ее, очевидно, явилось данью – данью власти, источник которой, как понимала Кейт, мог быть для нее всем, чем угодно, только не тайной. Они заходили в пассажи, бродили под яркими потолочными лампами, множество магазинов следовали один за другим, и всюду простая и чуть суховатая манера Кейт провозглашала, что если бы карман у нее был такой же глубокий да полный...!

Тем не менее Кейт ни в коей мере не винила свою подругу в отсутствии у той представления о совершаемых ею тратах, но не могла оправдать отсутствие у нее даже представления о страхе, о бережливости, отсутствие представления о сознательной зависимости от других – или, хотя бы до некоторой степени, привычки к такой зависимости. Такие моменты, как, например, когда казалось, что вся Уигмор-стрит шепчется о ней, а сама бледнощекая девушка встречается лицом к лицу с разными шептунами, обычно совершенно неотличимыми друг от друга, как неотличимы друг от друга отдельно взятые британцы – британцы персональные, участники взаимоотношений и, возможно, даже по своей внутренней сути совершенно замечательные, – такие моменты в особенности определяли для Кейт восприятие высокого наслаждения ее приятельницы неограниченной свободой. Свободное пространство Милли было беспредельно: ей можно было никого ни о чем не просить, никому ни на что не ссылаться, никому ничего не объяснять; ее законом и правом были ее свобода, ее богатство и ее фантазия; ее окружал послушный до угодливости мир, и она могла на каждом шагу вдыхать его ядовитый фимиам. А Кейт в эти дни, живя с Милли душа в душу, простила подруге ее безмерное счастье; более того, на этом этапе она была уверена, что, если их дружба продлится, она всегда пребудет в состоянии такого же великодушия. В эти дни она даже не подозревала о возможности «малой трещины в лютне», то есть о возможности малейшего разлада в их отношениях, – под этим мы вовсе не подразумеваем, что нечто могло бы встать между ними, и даже не имеем в виду никакого определенного изъяна в высокой чистоте и качестве их дружбы. Но так или иначе, если Милли на банкете у миссис Лоудер поведала лорду Марку, как сердечно отнеслась к ней молодая женщина на другой стороне стола благодаря какой-то едва ощутимой уместности такого отношения, то этому вполне соответствовало со стороны молодой женщины внутреннее чувство, не поддающееся анализу, но неявленно разделяемое и другими, что Милдред Тил вовсе не тот человек, на чьем месте хотелось бы оказаться, на чьи возможности хотелось бы обменять свои. Правду сказать, Кейт, вероятно, и сама не знала, о чем именно говорит ей ее пронизательность, она подошла довольно близко к тому, чтобы определить это, только когда сказала себе, что, какой бы богатой Милли ни была, вряд ли кому-то – имелось в виду единственное число – захочется возненавидеть ее за это. У нашей привлекательной девушки имелись и счастливые, добрые свойства, и некоторая вульгарность: она не могла не видеть, что без какой-то особой причины для помощи готовность помочь может обернуться проверкой твоей философической решимости не раздражаться на владелицу миллионов, сколько бы их ни было, которая как человек, как юная девушка, как сама Кейт, возможно, просто была в растерянности и к тому же мучительно женственна. Кейт не так уж была уверена, что любит тетушку Мод настолько, насколько та этого заслуживает, а ведь денежные средства, которыми владела тетушка, были явно значительно скуднее средств Милли. Следовательно, тут было что-то другое, говорившее в пользу Милли, какое-то воздействие, которое позже станет очевидным; а покамест она решительно была столь же очаровательной, сколь странной, и странной столь же, сколь очаровательной: все это доставляло удовольствие и редчайшее развлечение,

так же, между прочим, как и некоторые ценные вещицы, принять которые Кейт пришлось по безоговорочному настоянию подруги. Неделя в ее обществе при этих условиях – то есть когда Милли объявила, что эта неделя будет посвящена попечительству и утешению, и руководила этим чрезвычайно широким для ничего до сих пор не видевшей, растерянной паломницы процессом, – с самого раннего утра оказалась посвящена подаркам, подтверждению признательности, сувенирам, заверениям в благодарности и восхищении, и все это исключительно с одной стороны. Кейт тотчас же сочла уместным дать подруге понять, что ей придется отказаться от посещения магазинов до тех пор, пока она не получит гарантии, что содержимое любого магазина, куда она войдет как скромная сопровождающая, тут же не окажется у ее ног; однако надо признать, что это случилось не раньше, чем она, вопреки всяческим своим протестам, обнаружила себя владелицей нескольких драгоценных украшений и других мелочей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.